



Гюстав Флобер

Госпожа Бовари



Перевод с французского
Николая Любимова

ФТМ

Гюстав Флобер

Госпожа Бовари

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=130145

Госпожа Бовари: ФТМ; Москва; 2018

ISBN 978-5-4467-2179-5

Аннотация

В основе всего творчества французского писателя Гюстава Флобера (1821–1880) лежит непримиримый конфликт и несоответствие внутреннего духовного мира человека с окружающей действительностью. В своем известнейшем романе «Госпожа Бовари» Гюстав Флобер дает жесткий психологический анализ главной героини Эммы Бовари, живущей в надежде заполнить внутреннюю пустоту и неспособной противостоять пошлости и жестокости мира.

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	20
III	32
IV	40
V	48
VI	53
VII	61
VIII	70
IX	84
Часть вторая	100
I	100
II	114
Конец ознакомительного фрагмента.	119

Гюстав Флобер

Госпожа Бовари

© Перевод. Н. Любимов, наследники, 2020

© Агентство ФТМ, Лтд., 2020

* * *

МАРИ-АНТУАНУ-ЖЮЛЮ СЕНАРУ,
парижскому адвокату,
бывшему президенту Национального собрания
и министру внутренних дел

Дорогой и знаменитый друг!

Позвольте мне поставить Ваше имя на первой странице этой книги, перед посвящением, ибо Вам главным образом я обязан ее выходом в свет. Ваша блестящая защитительная речь указала мне самому на ее значение, какого я не придавал ей раньше. Примите же эту слабую дань глубочайшей моей признательности за Ваше красноречие и за Ваше самопожертвование.

Гюстав Флобер

Париж, 12 апреля 1857 г.

Посвящается Луи Буйле

Часть первая

I

Когда мы готовили уроки, к нам вошел директор, ведя за собой одетого по-домашнему «новичка» и служителя, тащившего огромную парту. Некоторые из нас дремали, но тут все мы очнулись и вскочили с таким видом, точно нас неожиданно оторвали от занятий.

Директор сделал нам знак сесть по местам, а затем, обратившись к классному наставнику, сказал вполголоса:

– Господин Роже! Рекомендую вам нового ученика – он поступает в пятый класс. Если же он будет хорошо учиться и хорошо себя вести, то мы переведем его к «старшим» – там ему надлежит быть по возрасту.

Новичок все еще стоял в углу, за дверью, так что мы с трудом могли разглядеть этого деревенского мальчика лет пятнадцати, ростом выше нас всех. Волосы у него были подстрижены в кружок, как у сельского псаломщика, держался он чинно, несмотря на крайнее смущение. Особой крепостью сложения он не отличался, а все же его зеленая суконная курточка с черными пуговицами, видимо, жала ему в проймах, из обшлагов высывались красные руки, не привыкшие к перчаткам. Он чересчур высоко подтянул помо-

чи, и из-под его светло-коричневых брючек выглядывали синие чулки. Башмаки у него были грубые, плохо вычищенные, подбитые гвоздями.

Начали спрашивать уроки. Новичок слушал затаив дыхание, как слушают проповедь в церкви, боялся заложить ногу на ногу, боялся облокотиться, а в два часа, когда прозвонил звонок, наставнику пришлось окликнуть его, иначе он так и не стал бы в пару.

При входе в класс нам всегда хотелось поскорее освободить руки, и мы обыкновенно бросали фуражки на пол; швырять их полагалось прямо с порога под лавку, но так, чтобы они, ударившись о стену, подняли как можно больше пыли; в этом заключался особый шик.

Быть может, новичок не обратил внимания на нашу поделку, быть может, он не решился принять в ней участие, но только молитва кончилась, а он все еще держал фуражку на коленях. Она представляла собою сложный головной убор, помесь медвежьей шапки, котелка, фуражки на выдровом меху и пуховой шапочки, – словом, это была одна из тех дрянных вещей, немое уродство которых не менее выразительно, чем лицо дурачка. Яйцевидная, распяленная на китовом усе, она начиналась тремя круговыми валиками; далее, отделенные от валиков красным околышем, шли попеременно ромбики бархата и кроличьего меха; над ними высилось нечто вроде мешка, который увенчивался картонным многоугольником с затейливой вышивкой из тесьмы, а с это-

го многоугольника свешивалась на длинном тоненьком шуручке кисточка из золотой канители. Фуражка была новенькая, ее козырек блестел.

– Встаньте, – сказал учитель.

Он встал; фуражка упала. Весь класс захохотал. Он нагнулся и поднял фуражку. Сосед сбросил ее локтем – ему опять пришлось за ней нагибаться.

– Да избавьтесь вы от своего фургона! – сказал учитель, не лишенный остроумия.

Дружный смех школьников привел бедного мальчика в замешательство – он не знал, держать ли ему фуражку в руках, бросить ли на пол или надеть на голову. Он сел и положил ее на колени.

– Встаньте, – снова обратился к нему учитель, – и скажите, как ваша фамилия.

Новичок пробормотал нечто нечленораздельное.

– Повторите!

В ответ слышалось то же глотание целых слогов, заглушаемое гиканьем класса.

– Громче! – крикнул учитель. – Громче!

Новичок с решимостью отчаяния разинул рот и во всю силу легких, точно звал кого-то, выпалил:

– Шарбовари!

Тут взметнулся невообразимый шум и стал расти *crescendo*¹, со звонкими выкриками (класс грохотал, гоготал,

¹ Нарастая (*итал.*).

топтал, повторял: Шарбовари! Шарбовари!), а затем распался на отдельные голоса, но долго еще не мог утихнуть и время от времени пробегал по рядам парт, на которых непогасшею шутихой то там, то здесь вспыхивал приглушенный смех.

Под градом окриков порядок мало-помалу восстановился, учитель, заставив новичка продиктовать, произнести по складам, а потом еще раз прочитать свое имя и фамилию, в конце концов разобрал слова «Шарль Бовари» и велел бедняге сесть за парту «лентяев», у самой кафедры. Новичок шагнул, но сейчас же остановился в нерешимости.

– Что вы ищете? – спросил учитель.

– Мою фур... – беспокойно оглядываясь, робко заговорил новичок.

– Пятьсот строк всему классу!

Это грозное восклицание, подобно «Quos ego!»², укротило вновь поднявшуюся бурю.

– Перестанете вы или нет? – еще раз прикрикнул разгневанный учитель и, вынув из-под шапочки носовой платок, отер со лба пот. – А вы, новичок, двадцать раз проспрыгаете мне в тетради *ridiculus sum*³. – Несколько смягчившись, он прибавил: – Да найдется ваша фуражка! Никто ее не украл.

Наконец все успокоились. Головы склонились над тетрадями, и оставшиеся два часа новичок вел себя примерно, хо-

² Вот я вас! (лат.)

³ Я смешон (лат.).

тя время от времени прямо в лицо ему попадали метко пущенные с кончика пера шарики жеваной бумаги. Он вытирал лицо рукой, но позы не менял и даже не поднимал глаз.

Вечером, перед тем как готовить уроки, он разложил свои школьные принадлежности, тщательно разлиновал бумагу. Мы видели, как добросовестно он занимался, поминутно заглядывая в словарь, стараясь изо всех сил. Грамматику он знал недурно, но фразы у него получались неуклюжие, так что в старший класс его, видимо, перевели только за прилежание. Родители, люди расчетливые, не спешили отдавать его в школу, и основы латинского языка ему преподавал сельский священник.

У его отца, г-на Шарля-Дени-Бартоломе Бовари, отставного ротного фельдшера, в 1812 году вышла некрасивая история, связанная с рекрутским набором, и ему пришлось уйти со службы, но благодаря своим личным качествам он сумел прихватить мимоходом приданое в шестьдесят тысяч франков, которое владелец шляпного магазина давал за своей дочерью, прельстившейся наружностью фельдшера. Красавчик, говорун, умевший лихо бряцать шпорами, носивший усы с подусниками, унизывавший пальцы перстнями, любивший рядиться во все яркое, он производил впечатление бравого молодца и держался с коммивояжерской бойкостью. Женившись, он года два-три проживал приданое – плотно обедал, поздно вставал, курил фарфоровые чубуки, каждый вечер бывал в театрах и часто заглядывал в кафе. Тесть оста-

вил после себя немного; с досады г-н Бовари завел было фабрику, но, прогорев, удалился в деревню, чтобы поправить свои дела. Однако в сельском хозяйстве он смыслил не больше, чем в ситцах, на лошадях своих катался верхом, вместо того чтобы на них пахать, сидр тянул целыми бутылками, вместо того чтобы продавать его бочками, лучшую живность со своего птичьего двора съедал сам, охотничьи сапоги смазывал салом своих свиней – и вскоре пришел к заключению, что всякого рода хозяйственные затеи следует бросить.

За двести франков в год он снял в одном селении, расположенном на границе Ко и Пикардии, нечто среднее между фермой и помещичьей усадьбой и, удрученный, преисполненный поздних сожалений, ропща на Бога и всем решительно завидуя, разочаровавшись, по его словам, в людях, сорока пяти лет от роду уже решил затвориться и почить от дел.

Когда-то давно жена была от него без ума. Она любила его рабской любовью и этим только отталкивала его от себя. Смолоду жизнерадостная, общительная, привязчивая, к старости она, подобно выдохшемуся вину, которое превращается в уксус, сделалась неуживчивой, сварливой, раздражительной. Первое время она, не показывая виду, жестоко страдала от того, что муж гонялся за всеми деревенскими девками, от того, что, побывав во всех злчных местах, он являлся домой поздно, разморенный, и от него пахло вином. Потом в ней проснулось самолюбие. Она ушла в себя, погребла свою злобу под плитой безмолвного стоицизма – и

такую оставалась уже до самой смерти. У нее всегда было столько беготни, столько хлопот! Она ходила к адвокатам, к председателю суда, помнила сроки векселей, добивалась отсрочки, а дома гладила, шила, стирала, присматривала за работниками, платила по счетам, меж тем как ее беспечный супруг, скованный брюзгливым полусном, от которого он возвращался к действительности только для того, чтобы сказать жене какую-нибудь колкость, покуривал у камина и сплевывал в золу.

Когда у них родился ребенок, его пришлось отдать кормилице. Потом, взяв мальчугана домой, они принялись портить его, как портят наследного принца. Мать закармливала его сладким; отец позволял ему бегать босиком и даже, строя из себя философа, утверждал, что мальчик, подобно детенышам животных, вполне мог бы ходить и совсем голым. В противовес материнским устремлениям он создал себе идеал мужественного детства и соответственно этому идеалу старался развивать сына, считая, что только суровым, спартанским воспитанием можно укрепить его здоровье. Он заставлял его спать в нетопленном помещении, учил пить большими глотками ром, учил глумиться над религиозными процессиями. Но смирному от природы мальчику все это не приживалось. Мать таскала его за собой всюду, вырезывала ему картинки, рассказывала сказки, произносила нескончаемые монологи, исполненные горестного веселья и многоречивой нежности. Устав от душевного одиночества, она сосредото-

чила на сыне все свое неутоленное, обманувшееся честолюбие. Она мечтала о том, как он займет видное положение, представляла себе, как он, уже взрослый, красивый, умный, поступает на службу в ведомство путей сообщения или же в суд. Она выучила его читать, более того – выучила пять два-три романа под аккомпанемент старенького фортепьяно. Но г-н Бовари не придавал большого значения умственному развитию: «Все это зря!» – говорил он. Разве они в состоянии отдать сына в казенную школу, купить ему должность или торговое дело? «Не в ученье счастье, – кто победней, тот всегда в люди выйдет». Г-жа Бовари закусывала губу, а мальчуган между тем носился по деревне.

Во время пахоты он сгонял с поля ворон, кидая в них комья земли. Собирал по оврагам ежевику, с хворостиной в руке пас индюшек, разгребал сено, бегал по лесу; когда шел дождь, играл на церковной паперти в «классы», а по большим праздникам, вымолив у пономаря разрешение позвонить, повисал всем телом на толстой веревке и чувствовал, что он куда-то летит вместе с ней.

Так, словно молодой дубок, рос этот мальчик. Руки у него стали сильные, щеки покрылись живым румянцем.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, мать решительно заявила, что его пора учить. Заниматься с ним попросили священника. Но польза от этих занятий оказалась невелика, – на уроки отводилось слишком мало времени, к тому же они постоянно срывались. Священник занимался с ним

в ризнице, стоя, наспех, урывками, между крестинами и похоронами, или, если только его не звали на требы, посылал за учеником после вечерни. Он уводил его к себе в комнату, там они оба усаживались за стол; вокруг свечи вилась мошкара и ночные бабочки. В комнате было жарко, мальчик дремал, а немного погодя и старик, сложив руки на животе и открыв рот, начинал похрапывать. Возвращаясь иной раз со святыми дарами от больного и видя, что Шарль проказничает в поле, он подзывал его, с четверть часа отчитывал и, пользуясь случаем, заставлял где-нибудь под деревом спрягать глагол. Их прерывал дождь или знакомый прохожий. Впрочем, священник всегда был доволен своим учеником и даже говорил, что у «юноши» прекрасная память.

Ограничиться этим Шарлю не подобало. Г-жа Бовари настояла на своем. Г-н Бовари устыдился, а вернее всего разговоры об этом ему просто-напросто надоели, но только он сдался без боя, и родители решили ждать лишь до той поры, когда мальчуган примет первое причастие, то есть еще один год.

Прошло полгода, а в следующем году Шарля наконец отдали в руанский коллеж, – в конце октября, в разгар ярмарки, приурочиваемой ко дню памяти святого Романа, его отвез туда сам г-н Бовари.

Теперь уже никто из нас не мог бы припомнить какую-нибудь черту из жизни Шарля. Это была натура уравновешенная: на переменах он играл, в положенные часы готовил уро-

ки, в классе слушал, в дортуаре хорошо спал, в столовой хорошо ел. Опекал его оптовый торговец скобяным товаром с улицы Гантри – раз в месяц, по воскресеньям, когда его лавка бывала уже заперта, он брал Шарля из училища и посылал пройтись по набережной, поглядеть на корабли, а в семь часов, как раз к ужину, приводил обратно. По четвергам после уроков Шарль писал матери красными чернилами длинные письма и запечатывал их тремя облатками, затем просматривал свои записи по истории или читал растрепанный том «Анахарсиса», валявшийся в комнате, где готовились уроки. На прогулках он беседовал со школьным сторожем, тоже бывшим деревенским жителем.

Благодаря своей старательности он учился не хуже других, а как-то раз даже получил за ответ по естественной истории высшую отметку. В нашем коллеже он пробыл всего три года, а затем родители его взяли – они хотели сделать из него лекаря и были уверены, что к экзамену на бакалавра он сумеет приготовиться самостоятельно.

Мать нашла ему комнату на улице О-де-Робек, на пятом этаже, у знакомого красильщика. Она уговорила с красильщиком насчет пансиона, раздобыла мебель – стол и два стула, выписала из дому старую, вишневого дерева, кровать, а чтобы ее бедный мальчик не замерз, купила еще чугунную печурку и дров. Через неделю, после бесконечных наставлений и просьб к сыну вести себя хорошо, особенно теперь, когда смотреть за ним будет некому, она уехала домой.

Ознакомившись с программой занятий, Шарль оторопел: курс анатомии, курс патологии, курс физиологии, курс фармацевтики, курс химии, да еще ботаники, да еще клиник, да еще терапия, сверх того – гигиена и основы медицины, – смысл всех этих слов был ему неясен, все они представлялись вратами в некое святилище, где царил ужасающий мрак.

Он ничего не понимал; он слушал внимательно, но сути не улавливал. И все же он занимался, завел себе тетради в переплетах, аккуратно посещал лекции, не пропускал ни одного занятия в клинике. Он исполнял свои несложные повседневные обязанности, точно лошадь, которая ходит с завязанными глазами по кругу, сама не зная – зачем.

Чтобы избавить его от лишних расходов, мать каждую неделю посылала ему с почтовой каретой кусок жареной телятины, и это был его неизменный завтрак, который он съедал по возвращении из больницы, топоча ногами от холода. А после завтрака – бегом на лекции, в анатомический театр, в больницу для хроников, оттуда через весь город опять к себе на квартиру. Вечером, после насытного обеда у хозяина, он шел в свою комнату, снова садился заниматься – поближе к раскаленной докрасна печке, и от его отсыревшей одежды шел пар.

В хорошие летние вечера, в час, когда еще не остывшие улицы пустеют, когда служанки играют у ворот в волан, он открывал окно и облакачивался на подоконник. Под ним,

между мостами, между решетчатыми оградами набережных, текла превращавшая эту часть Руана в маленькую неприглядную Венецию то желтая, то лиловая, то голубая река. Рабочие, сидя на корточках, мыли в ней руки. На жердях, торчавших из слуховых окон, сушились мотки пряжи. Напротив, над крышами, раскинулось безбрежное чистое небо, залитое багрянцем заката. То-то славно сейчас, наверное, за городом! Как прохладно в буковой роще! И Шарль раздувал ноздри, чтобы втянуть в себя родной запах деревни, но запах не долетал.

Он похудел, вытянулся, в глазах у него появился оттенок грусти, благодаря которому его лицо стало почти интересным.

Мало-помалу он начал распускаться, отступать от намеченного плана, и вышло это как-то само собой. Однажды он не явился в клинику, на другой день пропустил лекцию, а затем, войдя во вкус безделья, и вовсе перестал ходить на занятия.

Он сделался завсегдатаем кабачков, пристрастился к домино. Просиживать все вечера в грязном заведении, стучать по мраморному столику костяшками с черными очками – это казалось ему высшим проявлением самостоятельности, поднимавшим его в собственных глазах. Он словно вступал в новый мир, впервые притрагивался к запретным удовольствиям. Берясь при входе за ручку двери, он испытывал нечто вроде чувственного наслаждения. Многое из того, что

прежде он подавлял в себе, теперь развернулось. Он распевал на дружеских пирушках песенки, которые знал назубок, восхищался Беранже, научился готовить пунш и познал наконец любовь.

Благодаря такой блестящей подготовке он с треском провалился на экзаменах и звания лекаря не получил. А дома его ждали в тот же день к вечеру, собирались отметить это радостное событие в его жизни!

Домой он пошел пешком и, остановившись у въезда в село, послал за матерью и все ей рассказал. Она простила его, объяснила его провал несправедливостью экзаменаторов, обещала все устроить, и Шарль немного повеселел. Г-н Бовари узнал правду только через пять лет. К этому времени она уже устарела, и г-н Бовари примирился с нею, да он, впрочем, и раньше не допускал мысли, что его отпрыск – болван.

Итак, Шарль снова взялся за дело, уже ничем не отвлекаясь, стал готовиться к экзамену и все, что требовалось по программе, затвердил наизусть. Отметку он получил довольно приличную. Какой счастливый день для матери! Дома по этому случаю был устроен пир.

Да, но где бы ему применить свои познания? В Тосте. Там был только один врач, и притом уже старый. Г-жа Бовари давно ждала его смерти, и не успел бедный старик отправиться на тот свет, как Шарль в качестве его преемника поселился напротив его дома.

Но воспитать сына, сделать из него врача, подыскать для него место в Тосте – это еще не все, его надо женить. И г-жа Бовари нашла ему невесту – вдову дьеппского судебного исполнителя, женщину сорока пяти лет, но зато имевшую тысячу двести ливров годового дохода.

Госпожа Дюбюк была некрасива, суха как жердь, прыщей на ее лице выступало столько, сколько весной набухает почек, и тем не менее женихи у нее не переводились. Чтобы добиться своего, г-же Бовари пришлось их устранить, и действовала она так ловко, что ей даже удалось перебить дорогу одному колбаснику, за которого стояло местное духовенство.

Шарль рассчитывал, что брак поправит его дела, он воображал, что будет чувствовать себя свободнее, сможет располагать и самим собою, и своими средствами. Но супруга забрала над ним силу, она наказывала ему говорить при посторонних то-то и не говорить того-то, он должен был поститься по пятницам, одеваться по ее вкусу и допекать пациентов, которые долго не платили. Она распечатывала его письма, следила за каждым его шагом и, когда он принимал у себя в кабинете женщин, подслушивала за дверью.

По утрам она не могла обойтись без шоколаду; она требовала к себе постоянного внимания. Вечно жаловалась то на нервы, то на боль в груди, то на дурное расположение духа. Шум шагов ее раздражал; стоило от нее уйти – и она изнывала в одиночестве; стоило к ней вернуться – ну ко-

нечно, вернулся посмотреть, как она умирает. Вечером, когда Шарль приходил домой, она выпрастывала из-под одеяла свои длинные худые руки, обвивала их вокруг его шеи, усаживала его к себе на кровать и принималась изливать ему свою душевную муку: он ее забыл, он любит другую! Недаром ей предсказывали, что она будет несчастна. А кончалось дело тем, что она просила какого-нибудь сиропа для поправления здоровья и немножко больше любви.

II

Как-то ночью, часов около одиннадцати, их разбудил топот коня, остановившегося у самого крыльца. Служанка отворила на чердаке слуховое окошко и начала переговариваться с человеком, который находился внизу, на улице. Он приехал за доктором, – он привез ему письмо. Настази, дрожа от холода, спустилась по лестнице, повернула ключ, один за другим отодвинула засовы. Человек спрыгнул с коня и прямо за ней вошел в спальню. Вынув из шерстяной шапки с серыми кистями завернутое в тряпицу письмо, он почтительно вручил его Шарлю, и тот, облокотившись на подушку, начал читать. Настази, стоя у кровати, держала свечку. Барыня от смущения повернулась лицом к стене.

Письмо, запечатанное маленькой, синего сургуча, печатью, содержало мольбу к г-ну Бовари как можно скорее прибыть на ферму Берто и оказать помощь человеку, сломавшему себе ногу. Но от Тоста до Берто, если ехать через Лонгвиль и Сен-Виктор, добрых шесть лье. Ночь была темная. Г-жа Бовари-младшая высказала опасение, как бы с мужем чего не случилось дорогой. Поэтому условились, что конюх, доставивший письмо, поедет сейчас же, а Шарль – через три часа, как только взойдет луна. Навстречу ему выйдет мальчишка, покажет дорогу на ферму и отопрет ворота.

Около четырех часов утра Шарль, поплотней закутавшись

в плащ, выехал в Берто. Он все еще был разнежен теплотою сна, и спокойная рысца лошади убаюкивала его. Когда лошадь неожиданно останавливалась перед обсаженными терновником ямами, какие обыкновенно роют на краю пашни, Шарль мгновенно просыпался, сейчас же вспоминал о сломанной ноге и начинал перебирать в памяти все известные ему случаи переломов. Дождь перестал, брезжил рассвет, на голых ветвях яблонь неподвижно сидели птицы, и перышки их ерошил холодный предутренний ветер. Всюду, куда ни помотришь, расстилались ровные поля, и на этом огромном сером пространстве, сливавшемся вдаль с пасмурным небом, редкими темно-лиловыми пятнами выделялись лишь купы деревьев, что росли вокруг ферм. Шарль по временам открывал глаза; потом сознание его уставало, на него снова нападала дремота, он быстро погружался в какое-то странное забытие, в котором недавние впечатления мешались с воспоминаниями, и сам он двоился: был в одно и то же время и студентом, и женатым человеком, лежал в постели, как только что перед этим, и проходил по хирургическому отделению, как когда-то давно. Он не отличал горячего запаха припарок от сильного запаха росы; ему слышались одновременно скрип железных колечек полога, скользящих по прутьям над кроватями больных, и дыхание спящей жены... Проезжая через Васонвиль, Шарль увидел, что на траве у канавы сидит мальчик.

– Вы доктор? – спросил он.

Получив подтверждение, мальчик взял в руки свои деревянные башмаки и пустился бежать впереди Шарля.

Завязав дорогой беседу со своим провожатым, лекарь узнал, что г-н Руо – один из самых богатых местных фермеров. Он сломал себе ногу вчера вечером, возвращаясь от соседа, к которому был приглашен на Крещение. Его жена умерла два года тому назад. С ним теперь только его единственная дочь, «барышня», – она-то и помогает ему вести хозяйство.

Колеи стали глубже. Вот и Берто. Мальчуган, шмыгнув в лазейку, проделанную в изгороди, на минуту исчез; но очень скоро, отперев ворота, показался снова на самом краю двора. Лошадь скользила по мокрой траве, Шарль нагибался, чтобы его не хлестнуло веткой. Сторожевые псы лаяли возле своих будок, изо всех сил натягивая цепи. Когда Шарль въехал во двор, лошадь в испуге шарахнулась.

Ферма дышала довольством. В растворенные ворота конюшен были видны крупные рабочие лошади – они мирно похрустывали сеном, пощипывая его из новеньких кормушек. Вдоль надворных построек тянулась огромная навозная куча, от нее валил пар, по ней, среди индюшек и кур, ходили и что-то клевали пять или шесть павлинов – краса и гордость кошских птичников. Овчарня была длинная, рига высокая, с гладкими, как ладонь, стенами. Под навесом стояли две большие телеги и четыре плуга, висели кнуты, хомуты, полный набор сбруи; синие шерстяные потники были все в

трухе, летевшей с сеновала. Симметрично обсаженный деревьями двор шел покато, на берегу пруда весело гоготали гуси.

На пороге дома появилась вышедшая навстречу к г-ну Бовари молодая женщина в синем шерстяном платье с тремя оборками и повела его в кухню, где жарко пылал огонь. Вокруг огня стояли чугунки, одни побольше, другие поменьше, – в них варился завтрак для работников. В камине сушилась мокрая одежда. Совок, каминные щипцы и горло поддувального меха – все это было громадных размеров, и все это сверкало, как полированная сталь; вдоль стен тянулась целая батарея кухонной посуды, в которой отражались языки яркого пламени, разгоревшегося в очаге, и первые лучи солнца, заглядывавшие в окно.

Шарль поднялся к больному на второй этаж. Тот лежал в постели и потел под одеялами; ночной колпак он с себя сбросил. Это был маленький толстенький человек лет пятидесяти, бледный, голубоглазый, лысый, с серьгами в ушах. На стуле возле его кровати стоял большой графин с водкой, из которого он время от времени пропускал для бодрости. При виде врача он тотчас же присмирел, перестал чертыхаться, – а чертыхался он перед этим двенадцать часов подряд, – и начал слабо стонать.

Перелом оказался легкий, без каких бы то ни было осложнений. Шарль даже и не мечтал о такой удаче. Вспомнив, как держали себя в подобных случаях его учителя, он стал под-

бадривать больного разными шуточками, теми ласками хирурга, которые действуют, как масло на рану. Из каретника принесли дранок на лубки. Шарль выбрал одну дранку, расщепил и поскоблил ее осколком стекла; служанка тем временем рвала простыню на бинты, а мадемуазель Эмма старательно шила подушечки. Она долго не могла найти игольник, и отец на нее рассердился; она ничего ему не сказала – она только поминутно колола себе в спешке то один, то другой палец, подносила их ко рту и высасывала кровь. Белизна ее ногтей поразила Шарля. Эти блестящие, суживавшиеся к концу ноготки были отполированы лучше дьепской слоновой кости и подстрижены в виде миндалин. Рука у нее была, однако, некрасивая, пожалуй, недостаточно белая, суховатая в суставах, да к тому же еще чересчур длинная, лишенная волнистой линии изгибов. По-настоящему красивы у нее были глаза; карие, они казались черными из-за ресниц и смотрели на вас в упор с какой-то прямодушной смелостью.

После перевязки г-н Руо предложил доктору «закусить на дорожку».

Шарль спустился в залу. Здесь к изножию большой кровати под ситцевым балдахином с вытканными на нем турками был придвинут столик с двумя приборами и двумя серебряными лафитничками. Из дубового шкафа, висевшего как раз напротив окна, пахло ирисом и только что выстиранными простынями. По углам стояли рядком на полу мешки с пшеницей. Они, видимо, не поместились в соседней кладо-

вой, куда вели три каменные ступеньки. На стене, с которой от сырости местами сошла зеленая краска, висело в золотой рамке на гвоздике украшение всей комнаты – рисованная углем голова Минервы, а под ней готическими буквами было написано: «Дорогому папочке».

Сперва поговорили о больном, затем о погоде, о том, что стоят холода, о том, что по ночам в поле рыщут волки. Мадемуазель Руо несладко жилось в деревне, особенно теперь, когда почти все хозяйственные заботы легли на нее. В зале было прохладно, девушку пробирала дрожь, и от этого чуть приоткрывались ее пухлые губы, которые она, как только умолкала, сейчас же начинала покусывать.

Ее шея выступала из белого отложного воротничка. Тонкая линия прямого пробора, едва заметно поднимавшаяся вверх соответственно строению черепа, разделяла ее волосы на два темных бандо, оставлявших на виду лишь самые кончики ушей, причем каждое из этих бандо казалось чем-то цельным – до того ее волосы были здесь гладко зачесаны, а на виски они набегали волнами, сзади же сливались в пышный шиньон, – такой прически сельскому врачу никогда еще приходилось видеть. Щеки у девушки были розовые. Между двумя пуговицами ее корсажа был засунут, как у мужчины, черепаховый лорнет.

Когда Шарль, зайдя перед отъездом проститься к ее отцу, вернулся в залу, девушка стояла у окна и смотрела в сад на поваленные ветром подпорки для бобов.

– Вы что-нибудь забыли? – обернувшись, спросила она.

– Да, извините, забыл хлыстик, – ответил Шарль.

Он стал искать на кровати, за дверями, под стульями. Хлыст завалился за мешки с пшеницей и лежал у самой стены. Увидела его мадемуазель Эмма. Она наклонилась над мешками. Шарль, по долгу вежливости решив опередить ее, потянулся одновременно с ней и нечаянно прикоснулся грудью к спине девушки, которая стояла, нагнувшись, впереди него. Она выпрямилась и, вся вспыхнув, глядя на него вполоборота, протянула ему плеть.

Назавтра Шарль снова отправился в Берто, хотя обещал приехать через три дня, потом стал ездить аккуратно два раза в неделю, а кроме того, наезжал иногда неожиданно, якобы по рассеянности.

Между тем все обстояло хорошо. Выздоровление шло по всем правилам лекарского искусства, через сорок шесть дней папаша Руо попробовал без посторонней помощи походить по своей «лачужке», и после этого о г-не Бовари стали отзываться как об очень способном враче. Папаша Руо говорил, что лучшие доктора не только Ивето, но и Руана так скоро бы его не вылечили.

А Шарль даже и не задавал себе вопроса, отчего ему так приятно бывать в Берто. Если б он над этим задумался, он, конечно, объяснил бы свою внимательность серьезностью случая, а быть может, надеждой на недурной заработок. Но в самом ли деле по этой причине поездки на ферму составляли

для него счастливое исключение из всех прочих обязанностей, заполнявших его скучную жизнь? В эти дни он вставал рано, пускал коня в галоп, всю дорогу погонял его, а неподалеку от фермы соскакивал, вытирал ноги о траву и натягивал черные перчатки. Ему нравилось въезжать во двор, толкать плечом ворота, нравилось, как поет на заборе петух, нравилось, что работники выбегают навстречу. Ему нравились конюшни и рига; нравилось, что папаша Руо, здороваясь, хлопает его по ладони и называет своим спасителем; нравилось, как стучат по чистому кухонному полу деревянные подошвы, которые мадемуазель Эмма подвязывала к своим кожаным туфлям. На каблуках она казалась выше; когда она шла впереди Шарля, деревянные подошвы, быстро отрываясь от пола, с глухим стуком хлопали по подметкам.

Всякий раз она провожала его до первой ступеньки крыльца. Если лошадь ему еще не подавали, Эмма не уходила. Прощались они заранее и теперь уже не говорили ни слова. Сильный ветер охватывал ее всю, трепал непослушные завитки на затылке, играл завязками передника, развевавшимися у нее на бедрах, точно флажки. Однажды, в оттепельный день, кора на деревьях была вся мокрая и капало с крыш. Эмма постояла на пороге, потом принесла из комнаты зонтик, раскрыла его. Сизый шелковый зонт просвечивал, и по ее белому лицу бегали солнечные зайчики. Эмма улыбалась из-под зонта этой теплой ласке. Было слышно, как на натянутый муар надают капли.

Первое время, когда Шарль только-только еще зачастил в Берто, г-жа Бовари-младшая всякий раз осведомлялась о здоровье больного и даже отвела ему в приходо-расходной книге большую чистую страницу. Узнав же, что у него есть дочь, она поспешила навести справки. Оказалось, что мадемуазель Руо училась в монастыре урсулинок и получила, как говорится, «прекрасное воспитание», то есть она танцует, знает географию, рисует, вышивает и бренчит на фортепьяно. Нет, это уже слишком!

«Так вот почему, – решила г-жа Бовари, – он весь сияет, когда отправляется к ней, вот почему он надевает новый жилет, не боясь попасть под дождь! Ах, эта женщина! Ах, эта женщина!..»

И она ее инстинктивно возненавидела. Сначала она тешила душу намеками – Шарль не понимал их; потом, будто ненароком, делала какое-нибудь замечание, – из боязни скандала Шарль пропускал его мимо ушей, – а в конце концов стала учинять вылазки, которые Шарль не знал, как отбить. Зачем он продолжает ездить в Берто, раз г-н Руо выздоровел, а денег ему там до сих пор не заплатили? Ну да, конечно, там есть «одна особа», – она рукодельница, востра на язык, сходит за умную. Он этаких любит, ему городские барышни нравятся!

– Но какая же дочка Руо – барышня? – возмущалась г-жа Бовари. – Хороша барышня, нечего сказать! Дед ее был пастух, а какой-то их родственник чуть не угодил под суд за то,

что повздорил с кем-то и полез в драку. Зря она уж так важничает, по воскресеньям к обедне ходит в шелковом платье, подумашь – графиня! Для бедного старика это чистое разоренье; ему еще повезло, что в прошлом году хорошо уродилась репа, а то бы ему нипочем не выплатить недоимки!

Шарлю эти разговоры опостытели, и он перестал ездить в Берто. После долгих рыданий и поцелуев Элоиза в порыве страсти вынудила его поклясться на молитвеннике, что он больше туда не поедет. Итак, он покорился, но смелое влечение бунтовало в нем против его раболепного поведения, и, наивно обманывая самого себя, он пришел к выводу, что запрет видеть Эмму дает ему право любить ее. К тому же вдова была костлява, зубаста, зимой и летом носила короткую черную шаль, кончики которой висели у нее между лопатками; свой скелет она, как в чехол, упрятывала в платья, до того короткие, что из-под них торчали лодыжки в серых чулках, поверх которых крест-накрест были повязаны тесемки от ее огромных туфель.

К Шарлю изредка приезжала мать, спустя несколько дней она уже начинала плясать под дудку снохи, и они вдвоем, как две пилы, принимались пилить его и приставать к нему с советами и замечаниями. Напрасно он так много ест! Зачем подносить стаканчик всем, кто бы ни пришел? Это он только из упрямства не надевает фланелевого белья.

Но вот в начале весны энгувильский нотариус, которому вдова Дюбюк доверила свое состояние, дал тягу, захватив с

собой всю наличность, хранившуюся у него в конторе. Правда, у Элоизы еще оставался, помимо шести тысяч франков, которые она вложила в корабль, дом на улице Святого Франциска, но, собственно, на хозяйстве супругов ее сказочное богатство, о котором было столько разговоров, никак не отразилось, если не считать кое-какой мебели да тряпья. Потребовалось внести в это дело полную ясность. Дьеппский дом был заложен и перезаложен; какую сумму она хранила у нотариуса – одному богу было известно, а доля ее участия в прибылях от корабля не превышала тысячи экю. Стало быть, эта милая дама все наврала!.. Г-н Бовари-отец в ярости сломал стул о каменный пол и сказал жене, что она погубила сына, связав его с этой клячей, у которой сбруя не лучше кожи. Они поехали в Тост. Произошло объяснение. Протекало оно бурно. Элоиза, вся в слезах, бросилась к мужу на шею с мольбой заступиться за нее. Шарль начал было ее защищать. Родители обиделись и уехали.

Но удар был нанесен. Через неделю Элоиза вышла во двор развесить белье, и вдруг у нее хлынула горлом кровь, а на другой день, в то время как Шарль повернулся к ней спиной, чтобы задернуть на окне занавеску, она воскликнула: «О боже!» – вздохнула и лишилась чувств. Она была мертва. Как странно!

С похорон Шарль вернулся домой. Внизу было пусто; он поднялся на второй этаж, вошел в спальню и, увидев платье жены, висевшее у изножья кровати, облокотился на письмен-

ный стол и, погруженный в горестное раздумье, просидел тут до вечера. Ведь она его все-таки любила.

III

Как-то утром папаша Руо привез Шарлю плату за свою сросшуюся ногу – семьдесят пять франков монетами по сроку су и вдобавок еще индейку. Он знал, что у Шарля горе, и постарался, как мог, утешить его:

– Я ведь это знаю по себе! – говорил он, хлопая его по плечу. – Я это тоже испытал! Когда умерла моя бедная жена, я уходил в поле – хотелось побыть одному; упадешь, бывало, наземь где-нибудь под деревом, плачешь, молишь Бога, говоришь ему всякие глупости: увидишь на ветке крота, – в животе у него черви кишат, – одним словом, дохлого крота, и завидуешь ему. А как подумаешь, что другие сейчас обнимают своих милых женушек, – и давай что есть мочи колотить палкой по земле; до того я ошалел, что даже есть перестал; поверите, от одной мысли о кафе у меня с души воротило. Ну, а там день да ночь, сутки прочь, за зимой – весна, за летом, глядишь, осень, и незаметно, по капельке, по чуточке, оно и утекло. Ушло, улетело, вернее, отпустило, потому в глубине души всегда что-то остается, как бы вам сказать?.. Тяжесть вот тут, в груди! Но ведь это наша общая судьба, стало быть, и не к чему нам так убиваться, не к чему искать себе смерти только оттого, что кто-то другой умер... Встряхнитесь, господин Бовари, и все пройдет! Приезжайте к нам; дочь моя, знаете ли, нет-нет да и вспомнит про вас, го-

ворит, что вы ее забыли. Скоро весна; мы с вами поохотимся на кроликов в заповеднике – это вас немножко отвлечет.

Шарль послушался его совета. Он поехал в Берто; там все оказалось по-прежнему, то есть как пять месяцев назад. Только груши уже цвели, а папаша Руо был уже на ногах и расхаживал по ферме, внося в ее жизнь некоторое оживление.

Считая, что с лекарем нужно быть особенно обходительным, раз у него такое несчастье, он просил его не снимать во дворе шляпы, говорил с ним шепотом, как с больным, и даже сделал вид, будто сердится на то, что Шарлю не приготовили отдельного блюда полегче – что-нибудь вроде крема или печеных груш. Он рассказывал разные истории. Шарль в одном месте невольно расхохотался, но, вспомнив о жене, тотчас нахмурился. За кофе он уже о ней не думал.

Он думал о ней тем меньше, чем больше привыкал к одиночеству. Вскоре он и вовсе перестал тяготиться им благодаря новому для него радостному ощущению свободы. Он мог теперь когда угодно завтракать и обедать, уходить и возвращаться, никому не отдавая отчета, вытягиваться во весь рост на кровати, когда уставал. Словом, он берег себя, нянчился с собой, охотно принимал соболезнования. Смерть жены пошла ему на пользу и в делах; целый месяц все кругом говорили: «Бедный молодой человек! Какое горе!» Его имя приобрело известность, пациентов у него прибавилось, и, наконец, он ездил теперь в любое время к Руо. Он питал какую-то

неопределенную надежду, он был беспричинно весел. Когда он приглаживал перед зеркалом свои бакенбарды, ему казалось, что он похорошел.

Однажды он приехал на ферму часов около трех; все было в поле; он вошел в кухню, но ставни там были закрыты, и Эмму он сначала не заметил. Пробиваясь сквозь щели в стенах, солнечные лучи длинными тонкими полосками растягивались на полу, ломались об углы кухонной утвари, дрожали на потолке. На столе ползли вверх по стенкам грязного стакана мухи, а затем, жужжа, тонули на дне, в остатках сидра. При свете, проникавшем в каминную трубу, сажа отливала бархатом, остывшая зола казалась чуть голубоватой. Эмма что-то шила, примостившись между печью и окном; голова у нее была непокрыта, на голых плечах блестели капельки пота.

По деревенскому обычаю, Эмма предложила Шарлю чего-нибудь выпить. Он было отказался, но она настаивала и в конце концов со смехом объявила, что выпьет с ним за компанию рюмочку ликера. С этими словами она достала из шкафа бутылку кюрасо и две рюмки, одну из них налила доверху, в другой только закрыла доньшко и, чокнувшись, поднесла ее ко рту. Рюмка была почти пустая, и, чтобы выпить, Эмме пришлось откачнуться назад; запрокидывая голову, вытягивая губы и напрягая шею, она смеялась, оттого что ничего не ощущала во рту, и кончиком языка, пропущенным между двумя рядами мелких зубов, едва касалась

дна. Потом она села и опять взялась за работу – она штопала белый бумажный чулок; она опустила голову и примолкла; Шарль тоже не говорил ни слова. От двери дуло, по полу двигались маленькие кучки сора; Шарль следил за тем, как их подгоняет сквозняк, и слышал лишь, как стучит у него в висках и как где-то далеко во дворе кудачет курица, которая только что снесла яйцо. Эмма время от времени прикладывала руки к щекам, чтобы они не так горели, а потом, чтобы стало холоднее рукам, дотрагивалась до железной ручки больших каминных щипцов.

Она пожаловалась, что с наступлением жары у нее начались головокружения, спросила, не помогут ли ей морские купанья, рассказала о монастыре, Шарль, в свою очередь, рассказал о своем коллеже, и так у них завязалась оживленная беседа. Они прошли к ней в комнату. Она показала ему свои старые ноты, книжки, которые она получила в награду, венки из дубовых листьев, валявшиеся в нижнем ящике шкафа. Потом заговорила о своей матери, о кладбище и даже показала клумбу в саду, с которой в первую пятницу каждого месяца срывала цветы на ее могилку. Вот только садовник у них никуда не годный; вообще бог знает что за прислуга! Эмма мечтает жить в городе – хотя бы зимой, впрочем, летней порою день все прибавляется, и в деревне тогда, наверно, еще скучнее. В зависимости от того, о чем именно она говорила, голос ее делался то высоким и звонким, то внезапно ослабевал и, когда она рассказывала о себе, постепенно

снижался почти до шепота, меж тем как лицо ее то озарялось радостью, и она широко раскрывала свои наивные глаза, а то вдруг мысль ее уносилась далеко, и она смотрела скучающим взглядом из-под полуопущенных век.

Вечером, по дороге домой, Шарль вызывал в памяти все ее фразы, одну за другой, пытался припомнить их в точности, угадать их скрытый смысл, чтобы до осязаемости ясно представить себе, как она жила, когда он с ней еще не был знаком. Но его мысленный взор видел ее такую, какой она предстала перед ним впервые, или же такую, какой он оставил ее только что. Потом он задал себе вопрос: что с ней станет, когда она выйдет замуж? И за кого? Увы! Папаша Руо богат, а она... она такая красивая! Но тут воображению его вновь явился облик Эммы, и что-то похожее на жужжанье волчка неотвязно зазвучало у него в ушах: «Вот бы тебе на ней жениться! Тебе бы на ней жениться!» Ночью он никак не мог уснуть, в горле у него все пересохло, хотелось пить; он встал, выпил воды и растворил окно; небо было звездное, дул теплый ветерок, где-то далеко лаяли собаки. Он поглядел в сторону Берто.

Решив, что, в сущности говоря, он ничем не рискует, Шарль дал себе слово при первом удобном случае сделать Эмме предложение, но язык у него всякий раз прилипал к гортани.

Папаша Руо был не прочь сбить дочку с рук, – помогала она ему плохо. В глубине души он ее оправдывал – он счи-

тал, что она слишком умна для сельского хозяйства, этого богом проклятого занятия, на котором миллионов не наживешь. В самом деле, старик не только не богател, но из году в год терпел убытки, ибо хотя на рынках он чувствовал себя как рыба в воде и умел показать товар лицом, зато собственно к земледелию, к ведению фермерского хозяйства он не питал ни малейшей склонности. Ничем особенно он себя не утруждал, денег на свои нужды не жалел – еда, тепло и сон были у него на первом плане. Он любил крепкий сидр, жаркое с кровью, любил прихлебывать кофе с коньячком. Он ел всегда в кухне, один, за маленьким столиком, который ему подавали уже накрытым, точно в театре.

Итак, заметив, что Шарль в присутствии Эммы краснеет, – а это означало, что на днях он попросит ее руки, – папаша все обдумал заранее. Шарля он считал «мозгляком», не о таком зяте мечтал он прежде, но, с другой стороны, Шарль, по общему мнению, вел себя безукоризненно, все говорили, что он бережлив, очень сведущ, – такой человек вряд ли станет особенно торговаться из-за приданого. А тут еще папаше Руо пришлось продать двадцать два акра своей земли, да к тому же он задолжал каменщику, шорнику, и потом надо было поправить вал в давальне.

«Посватается – отдам», – сказал он себе.

Перед самым Михайловым днем Шарль на трое суток приехал в Берто. Третий день, как и два предыдущих, прошел в том, что его отъезд все откладывался да откладывался.

Папаша Руо пошел проводить Шарля; они шагали по проселочной дороге и уже собирались проститься: пора было заговорить. Шарль дал себе слово начать, когда они дойдут до конца изгороди, и, как только изгородь осталась позади, он пробормотал:

– Господин Руо, мне надо вам сказать одну вещь.

Оба остановились. Шарль молчал.

– Ну, выкладывайте! Я и так все знаю! – сказал Руо, тихонько посмеиваясь.

– Папаша!.. Папаша!.. – лепетал Шарль.

– Я очень доволен, – продолжал фермер. – Девочка, наверно, тоже, но все-таки надо ее спросить. Ну, прощайте, – я пойду домой. Но только если она скажет «да», не возвращайтесь – слышите? – во избежание сплетен, да и ее это может чересчур взволновать. А чтобы вы не томились, я вам подам знак: настезь распахну окно с той стороны, – вы влезете на забор и увидите.

Привязав лошадь к дереву, Шарль выбежал на тропинку и стал ждать. Прошло тридцать минут, потом он отметил по часам еще девятнадцать. Вдруг что-то стукнуло об стену – окно распахнулось, задвижка еще дрожала.

На другой день Шарль в девять часов утра был уже на ферме. При виде его Эмма вспыхнула, но, чтобы не выдать волнения, попыталась усмехнуться. Папаша Руо обнял будущего зятя. Заговорили о материальной стороне дела; впрочем, для этого было еще достаточно времени – приличия требова-

ли, чтобы бракосочетание состоялось после того, как у Шарля кончится траур, то есть не раньше весны. Зима прошла в ожидании. Мадемуазель Руо занялась приданым. Часть его была заказана в Руане, а ночные сорочки и чепчики она шила сама по картинкам в журнале мод, который ей дали на время. Когда Шарль приезжал в Берто, с ним обсуждали приготовления к свадьбе, совещались, в какой комнате устроить обед, улаживались о количестве блюд и относительно закусок.

Эмме хотелось венчаться в полночь, при свете факелов, но папаше Руо эта затея не пришлась по душе. И вот наконец сыграли свадьбу: гостей съехалось сорок три человека, пир продолжался шестнадцать часов, а утром – опять за то же, и потом еще несколько дней доедали остатки.

IV

Приглашенные начали съезжаться с раннего утра в колясках, в одноколках, в двухколесных шарабанах, в старинных кабриолетах без верха, в крытых повозках с кожаными занавесками, а молодежь из соседних деревень, стоя, выстроившись в ряд, мчалась на телегах и, чтобы не упасть, держалась за грядки, – так сильно трясло. Понаехали и те, что жили в десяти милях отсюда, – из Годервиля, из Норманвиля, из Кани. Шарль и Эмма созвали всю свою родню, помирились со всеми друзьями, с которыми были до этого в ссоре, разослали письма тем знакомым, кого давным-давно потеряли из виду.

Время от времени за изгородью щелкал бич, вслед за тем ворота растворялись, во двор въезжала повозка. Кони лихо подкатывали к самому крыльцу, тут их на всем скаку осаживали, и повозка разгружалась, – из нее с обеих сторон вылезали гости, потирали себе колени, потягивались. Дамы были в чепцах, в сшитых по-городски платьях с блестящими на них золотыми цепочками от часов, в накидках, концы которых крест-накрест завязывались у пояса, или же в цветных косыночках, сколотых на спине булавками и открывавших сзади шею. Около мальчиков, одетых так же, как их папаши, и, видимо, чувствовавших себя неловко в новых костюмах (многие из них сегодня первый раз в жизни надели

сапоги), молча стояла какая-нибудь рослая девочка лет четырнадцати – шестнадцати, наверно, их кузина или старшая сестра, в белом платье, сшитом ко дню первого причастия и ради такого случая удлинённом, с волосами, жирными от розовой помады, вся красная, оторопелая, больше всего на свете боявшаяся испачкать перчатки. Конюхов не хватало, поэтому лошадей распрягали, засучив рукава, сами отцы семейств. Их одежда находилась в строгом соответствии с занимаемым ими положением в обществе – одни приехали во фраках, другие в сюртуках, третьи в пиджаках, четвертые в куртках, и все это у них было добротное, вызывавшее к себе почтительное отношение всех членов семьи, извлекавшееся из шкафов только по торжественным дням: сюртуки – с длинными разлетающимися полами, с цилиндрическими воротничками, с широкими, как мешки, карманами; куртки – толстого сукна, к которым обыкновенно полагалась фуражка с медным ободком на козырьке; пиджачки – кургузые, с двумя пуговицами на спине, посаженными так близко, что они напоминали глаза, с фалдами, точно вырубленными плотником из цельного дерева. Некоторые (эти, разумеется, сидели за столом на самых непочетных местах) явились даже в парадных блузах, то есть в таких, отложные воротнички которых лежали на плечах, спинку же, собранную в мелкие складки, перехватывал низко подпоясанный вышитый кушак.

А на груди панцирями выгибались крахмальные сорочки!

Мужчины только что подстриглись, – поэтому уши у них торчали, – и тщательно побрились; у тех, что встали нынче еще до рассвета и брились впотьмах, под носом были видны поперечные царапины, а на скулах – порезы величиною с трехфранковую монету; дорогой их обветрило, и казалось, будто все эти широкие, одутловатые лица кто-то отделал под розовый мрамор.

Так как от фермы до мэрии считалось не больше полумили, то все пошли туда пешком и пешком возвращались из церкви, после венчанья, на ферму. Шествие, двигавшееся сначала единой пестрой лентой, колыхавшейся в полях на узкой тропинке, что извивалась меж зеленей, вскоре растянулось и распалось на отдельные группы, увлекшиеся разговором. Впереди всех выступал музыкант со скрипкой, затейливо разукрашенной лентами; за ним шли новобрачные, потом сбившиеся в одну кучу родные и знакомые, а позади обрывала овсинки и под шумок затевала возню детвора. Платье Эммы, чересчур длинное, касалось земли; время от времени она останавливалась, подбирала его и осторожно снимала колючки затянутыми в перчатки пальцами, а Шарль, отпустив ее руку, ждал. Папаша Руо, в новом цилиндре и в черном фраке с рукавами чуть не до ногтей, вел под руку г-жу Бовари-мать. А г-н Бовари-отец, который в глубине души презирал все это общество и явился на свадьбу в простом однобортном, военного покроя сюртуке, расточал трактирные комплименты белокурой крестьянской девушке. Девуш-

ка приседала, краснела, не знала, что отвечать. Гости толковали о своих делах, а иные подтрунивали друг над другом, заранее настраиваясь на веселый лад. Музыкант все играл, все играл; прислушавшись, можно было различить его пиликанье. Как только скрипач замечал, что ушел далеко вперед, он сейчас же останавливался перевести дух, долго натирал канифолью смычок, чтобы струны визжали громче, а потом двигался дальше, то поднимая, то опуская гриф, – это помогало ему держать такт. Заслышав издали его игру, птички разлетались в разные стороны.

Стол накрыли в каретнике, под навесом. Подали четыре филе, шесть фрикасе из кур, тушеную телятину и три жарких, а на середине стола поставили превосходного жареного молочного поросенка, обложенного колбасками, с гарниром из щавеля. По углам стола возвышались графины с водкой. На бутылках со сладким сидром вокруг пробок выступила густая пена, стаканы были заранее налиты вином доверху. Желтый крем на огромных блюдах трясся при малейшем толчке; на его гладкой поверхности красовались инициалы новобрачных, выведенные мелкими завитушками. Нугу и торты готовил кондитер, выписанный из Ивето. В этих краях он подвизался впервые и решил в грязь лицом не ударить – на десерт он собственными руками подал целое сооружение, вызвавшее бурный восторг собравшихся. Нижнюю его часть составлял сделанный из синего картона квадратный храм с портиками и колоннадой, а вокруг храма в ни-

шах, усеянных звездами из золотой бумаги, стояли гипсовые статуэтки; второй этаж составлял савойский пирог в виде башни, окруженный невысокими укреплениями из цуката, миндаля, изюма и апельсиновых долек, а на самом верху громоздились скалы, виднелись озера из варенья, на озерах – кораблики из ореховых скорлупок, среди зеленого луга качался крошечный амурчик на шоколадных качелях, столбы которых вместо шаров увенчивались бутонами живых роз.

Обед тянулся до вечера. Устав сидеть, гости шли погулять во двор или на гумно – поиграть в «пробку», а потом опять возвращались на свои места. К концу обеда многие уже храпели. Но за кофе все снова оживились, запели песни, потом мужчины начали пробовать силу – упражнялись с гирями, показывали свою ловкость, пытались взвалить себе на плечи телегу, за столом говорили сальности, обнимали дам. Вечером стали собираться домой, но лошадей перекормили овсом, и они не хотели влезать в оглобли, брыкались, вскакивали на дыбы, рвали упряжь, а хозяева – кто бранился, кто хохотал. И всю ночь по дорогам бешеным галопом неслись при лунном свете крытые повозки, опрокидывались в канавы, перемахивали через кучи щебня, скатывались с косоголов вниз, а женщины, высунувшись в дверцу, подхватывали вожжи.

Те, что остались в Берто, пропьянствовали ночь в кухне. Дети уснули под лавками.

Невеста упростила отца, чтобы ее избавили от обычных

шуток. Тем не менее один из их родственников, торговец рыбой (он даже в качестве свадебного подарка привез две камбалы), начал было прыскать водой в замочную скважину, но папаша Руо подоспел вовремя и попытался втолковать ему, что зять занимает видное положение и что эти непристойные выходки по отношению к нему недопустимы. Однако родственник проникся его доводами не сразу. Подумав про себя, что папаша Руо зазнался, он отошел в уголок, к группе гостей; этим гостям случайно достались за обедом неважные куски, и теперь они, разобидевшись, перемывали косточки хозяину и, хотя и не прямо, желали ему разориться.

Госпожа Бовари-мать за весь день не проронила ни звука. С ней не советовались ни относительно наряда невесты, ни относительно распорядка свадебного пиршества; уехала она рано. Ее супруг остался – он послал в Сен-Виктор за сигарами и до самого утра все курил и попивал грог, чем заслужил особое уважение всей компании, которая понятия не имела о подобной смеси.

Шарль, остроумием не отличавшийся, во время свадебного пира не блистал. На все шутки, каламбуры, двусмысленности, поздравления и вольные намеки, которыми гости сочли своим долгом осыпать его с самого начала обеда, он отвечал не очень удачно.

Зато наутро это был уже совсем другой человек. Казалось, что это он утратил невинность, меж тем как по непроницаемому виду молодой ни о чем нельзя было догадаться. Даже

самые злые насмешники – и те прикусили язык, и когда она проходила мимо, они только глазели на нее, тщетно шевеля мозгами. Но Шарль и не думал таиться. Он называл Эмму женой, говорил ей «ты», спрашивал у каждого, как она ему нравится, всюду бегал за ней, беспрестанно уводил в сад, и гостям издалека было видно, как он, обняв ее за талию, гуляет по аллее, как он склоняется головой к ней на грудь и мнет кружевную отделку корсажа.

Через два дня после свадьбы молодые уехали – Шарль не мог дольше оставаться в Берто из-за пациентов. Папаша Руо дал им свою повозку и проводил их до Васонвиля. Там он в последний раз поцеловал дочь, потом слез с повозки и пошел домой. Отойдя шагов на сто, он обернулся и, глядя, как крутятся по дорожной пыли колеса удаляющейся повозки, тяжело вздохнул. Он вспомнил былое, вспомнил свою свадьбу, первую беременность жены; он тоже был весел в тот день, когда она сидела сзади него верхом на коне, бежавшем рысью по белому-белому полю, – ведь это было незадолго до Рождества, и снег уже выпал; одною рукой она держалась за мужа, а в другой у нее была корзинка; ветер трепал длинные концы ее кошского кружевного чепчика, они закрывали ей рот, и, оборачиваясь, он видел, что к его плечу вплотную прижимается ее улыбающееся розовое личико, выглядывающее из-под золотого ободка чепца. Время от времени она грела пальцы у него за пазухой. Как все это было давно! Теперь их сыну исполнилось бы уже тридцать лет! Старик еще

раз оглянулся, но повозка скрылась из виду. И тут у него в душе стало пусто, как в доме, откуда вынесли все вещи. В его голове, которую затуманили винные пары, трогательные воспоминания мешались с мрачными мыслями, и его вдруг потянуло к церкви. Но, боясь, как бы ему там не стало еще тоскливее, он зашагал прямо домой.

Господин и госпожа Бовари приехали в Тост к шести часам. Соседи бросились к окнам поглядеть на молодую докторшу.

Старая служанка поздоровалась со своей новой госпожой, поздравила ее, извинилась, что обед еще не готов, и предложила пока что осмотреть дом.

V

Дом своим кирпичным фасадом выходил прямо на улицу или, вернее, на дорогу. За дверью висели плащ с низким воротником, уздечка и черная кожаная фуражка, а в углу валялась пара штиблет, на которых уже успела засохнуть грязь. Направо дверь вела в залу, то есть в комнату, где обедали и сидели по вечерам. Канареечного цвета обои с выцветшим бордюром в виде гирлянды цветов дрожали на плохо натянутой холщовой подкладке; на окнах висели цеплявшиеся одна за другую белые коленкоровые занавески с красной каемкой, а на узкой каминной полочке, между двумя накладного серебра подсвечниками с овальными абажурами, поблескивали часы с головой Гиппократы. В противоположном конце коридора была дверь в кабинет Шарля – каморку шагов в шесть шириной, – там стоял стол, три стула и рабочее кресло. Тома «Медицинской энциклопедии», хотя и неразрезанные, но после многочисленных перепродаж успевшие основательно поистрепаться, занимали почти целиком шесть полок елового книжного шкафа. Больные, сидя здесь на приеме, дышали кухонным чадом, проникавшим сквозь стену, зато в кухне было слышно, как они кашляют и во всех подробностях рассказывают о своих болезнях. За кабинетом находилась нежилая комната, окнами во двор, на конюшню, заменявшая теперь и дровяной сарай, и подвал, и кладовую, –

там валялись железный лом, пустые бочонки, пришедшие в негодность садовые инструменты и много всякой другой пыльной рухляди, неизвестно для чего в свое время предназначавшейся.

Неширокий, но длинный сад тянулся меж двух глинобитных стен, не видных за рядами абрикосовых деревьев, и упирался в живую изгородь из кустов терновника, а дальше уже начинались поля. Посреди сада на каменном постаменте высились солнечные часы из аспидного сланца; четыре клумбы чахлого шиповника симметрично окружали грядку полезных насаждений. В глубине, под пихтами, читал молитвенник гипсовый священник.

Эмма поднялась на второй этаж. В первой комнате никакой обстановки не было, а во второй, где помещалась спальня супругов, стояла в алькове кровать красного дерева под красным пологом. На комодe привлекала внимание коробочка, отделанная ракушками; у окна на секретере стоял в графине букет флёрдоранжа, перевязанный белой атласною лентою. То был букет новобрачной, букет первой жены! Взгляд Эммы остановился на нем. Шарль это заметил и, взяв букет, понес его на чердак, а молодая, в ожидании, пока расставят тут же, при ней, ее вещи, села в кресло и, вспомнив о своем свадебном букете, лежавшем в картонке, задала себе вопрос, какая участь постигнет ее флёрдоранж, если вдруг умрет и она.

С первых же дней Эмма начала вводить новшества. Сняла

с подсвечников абажуры, оклеила комнаты новыми обоями, заново покрасила лестницу, в саду вокруг солнечных часов поставила скамейки и даже стала расспрашивать, как устроить бассейн с фонтаном и рыбками. Наконец супруг, зная, что она любит кататься, купил по случаю двухместный шарабанчик, который благодаря новым фонарям и крыльям из простроченной кожи мог сойти и за тильбюри.

Словом, Шарль наслаждался безоблачным счастьем. Обед вдвоем, вечерняя прогулка по большаку, движение, каким его жена поправляла прическу, ее соломенная шляпка, висевшая на оконной задвижке, и множество других мелочей, прелесть которых была ему прежде незнакома, представляли для него неиссякаемый источник блаженства. Утром, лежа с Эммой в постели, он смотрел, как солнечный луч золотит пушок на ее бледно-розовых щеках, полуприкрытых оборками чепца. На таком близком расстоянии, особенно когда она, просыпаясь, то приподнимала, то опускала веки, глаза ее казались еще больше; черные в тени, темно-синие при ярком свете, они как бы состояли из расположенных в определенной последовательности цветовых слоев, густых в глубине и все светлевших по мере приближения к белку. Глаз Шарля тонул в этих пучинах, – Шарль видел там уменьшенного самого себя, только до плечей, в фуляровом платке на голове и в сорочке с расстегнутым воротом. Он вставал. Она подходила к окну и смотрела, как он уезжает. Она облокачивалась на подоконник, между двумя горшками с геранью, и пеньюар

свободно облегал ее стан. Выйдя на улицу, Шарль ставил ноги на тумбу и пристегивал шпоры; Эмма продолжала с ним разговаривать, стоя наверху, покусывая лепесток или былинку, а потом сдувала ее по направлению к Шарлю, и она долго держалась в воздухе, порхала, описывала круги, словно птица, и, прежде чем упасть, цеплялась за лохматую гриву старой белой кобылы, стоявшей у порога не шевелясь. Шарль садился верхом, посылал Эмме воздушный поцелуй, она кивала ему в ответ, закрывала окно, он уезжал. И на большой дороге, бесконечную пыльную лентою расстилавшейся перед ним, на проселках, под сводом низко нагнувшихся ветвей, на межах, где колосья доходили ему до колен, Шарль чувствовал, как солнце греет ему спину, вдыхал утреннюю прохладу и, весь во власти упоительных воспоминаний о минувшей ночи, радуясь, что на душе у него спокойно, что плоть его удовлетворена, все еще переживал свое блаженство, подобно тому как после обеда мы еще некоторое время ощущаем вкус перевариваемых трюфелей.

Был ли он счастлив когда-либо прежде? Уж не в коллеже ли, когда он сидел взаперти, в его высоких четырех стенах, и чувствовал себя одиноким среди товарищей, которые были и богаче и способнее его, которые смеялись над его выговором, потешались над его одеждой и которым матери, когда являлись на свидание, проносили в муфтах пирожные? Или позднее, когда он учился на лекаря и когда в карманах у него было так пусто, что он даже не мог заказать музыкантам кад-

риль, чтобы потанцевать с какой-нибудь молоденькой работницей, за которой ему хотелось приударить? Потом он год и два месяца прожил со вдовой, у которой, когда она ложилась в постель, ноги были холодные, как ледышки. А теперь он до конца своих дней будет обладать прелестною, боготворимую им женщиной. Весь мир замыкался для него в пределы шелковистого обхвата ее платьев. И он упрекал себя в холодности, он скучал без нее. Он спешил домой, с бьющимся сердцем взбегал по лестнице. Эмма у себя в комнате занималась туалетом; он подходил к ней неслышными шагами, целовал ее в спину, она вскрикивала.

Не дотрагиваться поминутно до ее гребенки, косынки, колец – это было свыше его сил; он то враскоряк целовал ее в щеки, то покрывал быстрыми поцелуями всю ее руку, от кончиков пальцев до плеча, а она полуласково, полусердито отталкивала его, как отстраняем мы детей, когда они виснут на нас.

До свадьбы она воображала, что любит, но счастье, которое должно было возникнуть из этой любви, не пришло, и Эмма решила, что она ошиблась. Но она все еще старалась понять, что же на самом деле означают слова: «блаженство», «страсть», «упоение» – слова, которые казались ей такими прекрасными в книгах.

VI

В детстве она прочла «Поля и Виргинию» и долго потом мечтала о бамбуковой хижине, о негре Доминго, о собаке Фидель, но больше всего о нежной дружбе с милым маленьким братцем, который срывал бы для нее красные плоды с громадных, выше колокольни, деревьев или бежал бы к ней по песку босиком, с птичьим гнездом в руках.

Когда ей исполнилось тринадцать лет, отец сам отвез ее в город и отдал в монастырь. Остановились они в квартале Сен-Жерве, на постоялом дворе; ужин подали им на тарелках, на которых были нарисованы сцены из жизни мадемуазель де Лавальер. Апокрифического характера надписи, исцарапанные ножами, прославляли религию, чувствительность, а также роскошь королевского двора.

Первое время она совсем не скучала в монастыре; ей хорошо жилось у монахинь, которые, желая доставить ей развлечение, водили ее в часовню, соединенную с трапезной длинным коридором. На переменах она особой резвости не проявляла, катехизис ей давался легко, и на трудные вопросы викария всякий раз отвечала она. Окутанную тепличной атмосферой классов, окруженную бледноликими женщинами, носившими четки с медными крестиками, ее постепенно завораживала та усыпительная мистика, что есть и в церковных запахах, и в холоде чаш со святой водой, и в огоньках

свечей. Стоя за обедней, она, вместо того чтобы молиться, рассматривала в своей книжке обведенные голубою каймой заставки духовно-нравственного содержания; ей нравились и больная овечка, и сердце Христово, пронзенное острыми стрелами, и бедный Иисус, падающий под тяжестью креста. Однажды она попробовала ради умерщвления плоти целый день ничего не есть. Она долго ломала себе голову, какой бы ей дать обет.

Идя на исповедь, она нарочно придумывала разные мелкие грехи, чтобы подольше постоять на коленях в полутьме, скрестив руки, припав лицом к решетке, слушая шепот духовника. Часто повторявшиеся в проповедях образы жениха, супруга, небесного возлюбленного, вечного бракосочетания как-то особенно умиляли ее.

Вечерами, перед молитвой, им обыкновенно читали что-нибудь душеспасительное: по будням – отрывки из священной истории в кратком изложении или «Беседы» аббата Фрейсину, а по воскресеньям, для разнообразия, – отдельные места из «Духа христианства». Как она слушала вначале эти полнозвучные пени романтической тоски, откликающиеся на все призывы земли и вечности! Если бы детство ее протекло в торговом квартале какого-нибудь города, в комнате рядом с лавкой, ее мог бы охватить пламенный восторг перед природой, которым мы обыкновенно заражаемся от книг. Но она хорошо знала деревню; мычанье стад, молочные продукты, плуги – все это было ей так знакомо! Она при-

выкла к мирным картинам, именно поэтому ее влекло к себе все необычное. Если уж море, то чтобы непременно бурное, если трава, то чтобы непременно среди развалин. Это была натура не столько художественная, сколько сентиментальная, ее волновали не описания природы, но изливания чувств, в каждом явлении она отыскивала лишь то, что отвечало ее запросам, и отметала как ненужное все, что не удовлетворяло ее душевных потребностей.

Каждый месяц в монастырь на целую неделю приходила старая дева – белошвейка. Она принадлежала к старинному дворянскому роду, разорившемуся во время революции, поэтому ей покровительствовал сам архиепископ и ела она за одним столом с монахинями, а после трапезы, прежде чем взяться за шитье, оставалась с ними поболтать. Пансионерки часто убегали к ней с уроков. Она знала наизусть любовные песенки прошлого века и, водя иглой, напевала их. Она рассказывала разные истории, сообщала новости, выполняла в городе любые поручения и потихоньку давала читать старшим ученицам романы, которые она всюду носила с собой в кармане передника и которые сама глотала во время перерывов целыми главами. Там было все про любовь, там были одни только любовники, любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств в уединенных беседках, кучера, которых убивают на каждой станции, кони, которых загоняют на каждой странице, дремучие леса, сердечные тревоги, клятвы, рыдания, слезы и поцелуи, челны, озаренные лун-

ным светом, соловьиное пение в рощах, герои, храбрые, как лвы, кроткие, как агнцы, добродетельные донельзя, всегда безукоризненно одетые, слезоточивые, как урны. Пятнадцатилетняя Эмма целых полгода дышала этой пылью старинных книгохранилищ. Позднее Вальтер Скотт привил ей вкус к старине, и она начала бредить хижинами поселян, парадными залами и менестрелями. Ей хотелось жить в старинном замке и проводить время по примеру дам, носивших длинные корсажи и, облокотясь на каменный подоконник, опершись головой на руку, смотревших с высоты стрельчатых башен, как на вороном коне мчится к ним по полю рыцарь в шляпе с белым плюмажем. В ту пору она преклонялась перед Марией Стюарт и обожала всех прославленных и несчастных женщин. Жанна д'Арк, Элоиза, Агнеса Сорель, Прекрасная Ферроньера и Клеманс Изор – все они, точно кометы, выступали перед ней из непроглядной тьмы времен, да еще кое-где мелькали тонувшие во мраке, никак между собою не связанные Людовик Святой под дубом, умирающий Баярд, зверства Людовика XI, сцены из Варфоломеевской ночи, султан на шляпе Беарнца, и, разумеется, навсегда запечатлелись у нее в памяти тарелки с рисунками, восславлявшими Людовика XIV.

На уроках музыки она пела только романсы об ангелочках с золотыми крылышками, о мадоннах, лагунах, гондольерах, и сквозь нелепый слог и несуразный напев этих безвредных вещиц проступала для нее пленительная фантазма-

горя жизни сердца. Подруги Эммы приносили в монастырь кипсеки, которые им дарили на Новый год. Их приходилось прятать, это было не так-то просто; читали их только в дортуарах. Чуть дотрагиваясь до великолепных атласных переплетов, Эмма останавливала восхищенный взор на указанных под стихами именах неизвестных ей авторов – по большей части графов и виконтов.

От ее дыхания шелковистая папиросная бумага, загнувшись, приподнималась кверху, а потом снова медленно опускалась на гравюру, и уже это одно приводило Эмму в трепет. Бумага прикрывала то юношу в коротком плаще, за балюстрадой балкона обнимавшего девушку в белом платье с кошелечком у пояса, то портреты неизвестных английских леди с белокурыми локонами, глядевших большими ясными глазами из-под круглых соломенных шляпок. Одна из этих леди полулежала в коляске, скользившей по парку, а впереди бежавших рысью лошадей, которыми правили два маленьких грума в белых рейтузах, вприпрыжку неслась борзая. Другая леди, в мечтательной позе раскинувшись на софе и положив рядом с собой распечатанное письмо, глядела на луну в приоткрытое окно с приспущенной черной занавеской. Чистые душою девушки, проливая слезы, целовались с гор-linkами между прутьев готических клеток или, улыбаясь, склонив головку набок, обрывали лепестки маргаритки загнутыми кончиками пальцев, острыми, как носки у туфелек. Там были и вы, султаны с длинными чубуками, под навесами

беседок млеющие в объятиях баядерок, гяуры, турецкие сабли, фески, но особенно обильно там были представлены вы, в блеклых тонах написанные картины, изображающие некие райские уголки, картины, на которых мы видим пальмы и тут же рядом – ели, направо – тигра, налево – льва, вдали – татарский минарет, на переднем плане – руины древнего Рима, поодаль – разлегшихся на земле верблюдов, причем все это дано в обрамлении девственного, однако тщательно подметенного леса и освещено громадным отвесным лучом солнца, дробящимся в воде серо-стального цвета, а на фоне воды белыми пятнами вырезаются плавающие лебеди.

И все эти виды земного шара, непрерывной чередой мелькавшие перед мысленным взором Эммы в тишине спальни под стук запоздалой пролетки, доносившийся издалека, с какого-нибудь бульвара, озарял свет лампы под абажуром, висевшей прямо над головою девушки.

Когда у нее умерла мать, она первое время плакала, не осушая глаз. Она заказала траурную рамку для волос покойницы, а в письме к отцу, полном мрачных мыслей о жизни, выразила желание, чтобы ее похоронили в одной могиле с матерью. Старик решил, что дочка заболела, и поехал к ней. Эмма в глубине души была довольна, что ей сразу удалось возвыситься до трудно достижимого идеала отрешения от всех радостей жизни – идеала, непосильного для людей заурядных. Словом, она попала в сети к Ламартину, и ей стали чудиться звуки арфы на озерах, лебединые песни, шо-

рох опадающих листьев, непорочные девы, возносящиеся на небо, голос предвечного, звучащий в долине. Все это ей скоро наскучило, но она не хотела себе в этом признаться и продолжала грустить – сперва по привычке, потом из самолюбия, но в конце концов, к немалому своему изумлению, почувствовала, что успокоилась, что в сердце у нее не больше кручины, чем морщин на лбу.

Добрые инокини, с самого начала столь проникательно угадавшие, в чем именно состоит ее призвание, теперь были крайне поражены, что мадемуазель Руо, видимо, уходит из-под их влияния. Они зорко следили за тем, чтобы она выставала службы, часто заводили с ней разговор об отречении от мира, были щедры на молитвы и увещания, внушали ей, как надо чтить мучеников и угодников, давали ей столько мудрых советов, как должно укрощать плоть и спасти душу, и в конце концов довели ее до того, что она, точно лошадь, которую тянут за узду, вдруг остановилась как вкопанная, и удила выпали у нее изо рта. То была натура, при всей своей восторженности, рассудочная: в церкви ей больше всего нравились цветы, в музыке – слова романсов, в книгах – волнения страстей, таинства же она отвергала, но еще больше ее возмущало послушание, чуждое всему ее душевному строю. Когда отец взял ее из пансиона, то это никого не огорчило. Настоятельница даже заметила, что последнее время Эмма была недостаточно почтительна с монахинями.

Дома она сперва охотно командовала слугами, но дерев-

ня ей скоро опротивела, и она пожалела о монастыре. К тому времени, когда Шарль первый раз приехал в Берто, Эмма прониклась убеждением, что она окончательно разочаровалась в жизни, что она все познала, все испытала.

Заговорила ли в ней жажда новизны, или, быть может, сказалось нервное возбуждение, охватывавшее ее в присутствии Шарля, но только Эмма вдруг поверила, что то дивное чувство, которое она до сих пор представляла себе в виде райской птицы, парящей в сиянии несказанно прекрасного неба, слетело наконец к ней. И вот теперь она никак не могла убедить себя, что эта тихая заводь и есть то счастье, о котором она мечтала.

VII

Порой ей приходило в голову, что ведь это же лучшие дни ее жизни, так называемый медовый месяц. Но, чтобы почувствовать их сладость, надо, очевидно, удалиться в края, носящие звучные названия, в края, где первые послесвадебные дни бывают полны такой чарующей неги! Ехать бы шагом в почтовой карете с синими шелковыми шторами по крутому склону горы, слушать, как поет песню кучер, как звенят бубенчиками стада коз, как глухо шумит водопад и как всем этим звукам вторит горное эхо! Перед заходом солнца дышать бы на берегу залива ароматом лимонных деревьев, а вечером сидеть бы на террасе виллы вдвоем, рука в руке, смотреть на звезды и мечтать о будущем! Эмма думала, что есть такие места на земле, где счастье хорошо рождается, — так иным растениям нужна особая почва, а на любой другой они принимаются с трудом. Как бы хотела она сейчас облокотиться на балконные перила в каком-нибудь швейцарском домике или укрыть свою печаль в шотландском коттедже, где с нею был бы только ее муж в черном бархатном фраке с длинными фалдами, в мягких сапожках, в треугольной шляпе и кружевных манжетах!

Вероятно, она ощущала потребность кому-нибудь рассказать о своем душевном состоянии. Но как выразить необъяснимую тревогу, изменчивую, точно облако, быстролетную,

точно ветер? У нее не было слов, не было повода, ей не хватало смелости.

И все же ей казалось, что если бы Шарль захотел, если бы он догадался, если бы он взглядом хоть раз ответил на ее мысль, от ее сердца мгновенно отделилось бы и хлынуло наружу все, что в нем созревало: так отрываются спелые плоды от фруктового дерева – стоит только его потрянуть. Но отрыв этот, хотя их жизни сближались все тесней и тесней, происходил только в ее внутреннем мире, не находя отзвука вовне, и это разобщало ее с Шарлем.

Речь Шарля была плоской, точно панель, по которой вереницей тянулись чужие мысли в их будничной одежде, не вызывая ни волнения, ни смеха, ничего не говоря воображению. Он сам признавался, что в Руане так и не удосужился сходить в театр, ему неинтересно было посмотреть парижских актеров. Он не умел плавать, не умел фехтовать, не умел стрелять из пистолета и как-то раз не смог объяснить Эмме смысл попавшегося ей в одном романе выражения из области верховой езды.

А между тем разве мужчина не должен знать все, быть всегда на высоте, не должен вызывать в женщине силу страсти, раскрывать перед ней всю сложность жизни, посвящать ее во все тайны бытия? Но он ничему не учил, ничего не знал, ничего не желал. Он думал, что Эмме хорошо. А ее раздражало его безмятежное спокойствие, его несокрушимая самоуверенность, даже то, что он с нею счастлив.

Эмма иногда рисовала, и Шарль находил громадное удовольствие в том, чтобы стоять подле нее и смотреть, как она наклоняется над бумагой и, щурясь, вглядывается в свой рисунок или раскатывает на большом пальце хлебные шарики. А когда она играла на фортепьяно, то чем быстрее мелькали ее пальцы, тем больше восхищался Шарль. Она уверенно барабанила по клавишам, пробегая всю клавиатуру без остановки. При открытом окне терзаемый ею старый инструмент с дребезжащими струнами бывало слышно на краю села, и часто писарь, без шапки, в шлепанцах, с листом бумаги в руке шедший из суда по мостовой, останавливался послушать.

Помимо всего прочего, Эмма была хорошая хозяйка. Больным она посылала счета за визиты в форме изящно составленных писем без единого канцелярского оборота. По воскресеньям, когда к ним приходил обедать кто-нибудь из соседей, она всегда придумывала изысканное блюдо, укладывала ренклоды пирамидками на виноградных листьях, следила за тем, чтобы варенье было подано на тарелочках, и даже поговаривала о покупке мисочек со стаканами для полосканья рта после сладкого блюда. Все это придавало Шарлю еще больше веса в округе.

В конце концов он и сам проникся к себе уважением за то, что у него такая жена. Он с гордостью показывал гостям висевшие на длинных зеленых шнурах два ее карандашных наброска, которые он велел вставить в широкие рамы. Идя от обедни, все могли видеть, как он в красиво вышитых туфлях

посиживает у порога своего дома.

От больных он возвращался поздно вечером – обычно в десять, иногда в двенадцать. Он просил покормить его, а так как служанка уже спала, то подавала ему Эмма. Чтобы чувствовать себя свободнее, он снимал сюртук. Он рассказывал, кого он сегодня видел, в каких селах побывал, какие лекарства прописал, и, довольный собой, доедал остатки говядины, ковырял сыр, грыз яблоко, опорожнял графинчик, затем шел в спальню, ложился на спину и начинал храпеть.

Он всегда раньше надевал на ночь колпак, а потому фуляровый платок не держался у него на голове; утром его всклокоченные волосы, белые от пуха, вылезшего из подушки с развязавшимися ночью тесемками наволочки, свисали ему на лоб. И зимой и летом он ходил в высоких сапогах с глубокими косыми складками на подъеме и с прямыми, негнушимися, словно обутыми на деревяшку, головками. Он говорил, что «в деревне и так сойдет».

Матери Шарля нравилось, что он такой расчетливый; она по-прежнему приезжала к нему после очередного более или менее крупного разговора с супругом, но против своей снохи г-жа Бовари-мать, видимо, все еще была предубеждена. Она считала, что Эмма «живет не по средствам», что «дров, сахару и свечей уходит у нее не меньше, чем в богатых домах», а что угля жгут каждый день на кухне столько, что его хватило бы и на двадцать пять блюд. Она раскладывала белье в шкафах, учила Эмму разбираться в мясе, которое мясники

приносили на дом. Эмма выслушивала ее наставления, г-жа Бовари на них не скупилась; слова «дочка», «маменька», по целым дням не сходявшие с уст свекрови и невестки, произносились с поджатыми губами: обе говорили друг другу приятные вещи дрожащими от злобы голосами.

Во времена г-жи Дюбюк старуха чувствовала, что Шарль привязан к ней сильнее, чем к жене, но его чувство к Эмме она расценивала как спад его сыновней нежности, как посягательство на ее собственность. И она смотрела на счастье сына с безмолвной печалью, – так разорившийся богач заглядывает в окно того дома, который когда-то принадлежал ему, и видит, что за столом сидят чужие люди. Она рассказывала Шарлю о прошлом единственно для того, чтобы напомнить, сколько она из-за него выстрадала, чем для него пожертвовала, и чтобы после этого резче выступило невнимательное отношение к нему жены, а потом делала вывод, что у него нет никаких оснований так уж с нею носиться.

Шарль не знал, что отвечать; он почитал свою мать и бесконечно любил жену; мнение матери было для него законом, но ему не в чем было упрекнуть и Эмму. После отъезда матери он робко пытался повторить в тех же выражениях какое-нибудь самое безобидное ее замечание, но Эмма, не тратя лишних слов, доказывала ему, как дважды два, что он не прав, и отсылала к больным.

И все же, следуя мудрым, с ее точки зрения, правилам, она старалась уверить себя, что любит мужа. В саду при лунном

свете она читала ему все стихи о любви, какие только знала на память, и со вздохами пела унылые адажио, но это и ее самое ничуть не волновало, и у Шарля не вызывало прилива нежности, не потрясало его.

Наконец Эмма убедилась, что ей не высечь ни искры огня из своего сердца, да к тому же она была неспособна понять то, чего не испытывала сама, поверить в то, что не укладывалось в установленную форму, и ей легко удалось внушить себе, что в чувстве Шарля нет ничего необыкновенного. Проявления этого чувства он определенным образом упорядочил – он ласкал ее в известные часы. Это стало как бы одной из его привычек, чем-то вроде десерта, который заранее предвкушают, сидя за однообразным обедом.

Лесник, которого доктор вылечил от воспаления легких, подарил г-же Бовари борзого щенка; Эмма брала его с собой на прогулку, – она иногда уходила из дому, чтобы хоть немного побыть одной и не видеть перед собою все тот же сад и пыльную дорогу.

Она доходила до банвильской буковой рощи; здесь, углом к полю, стоял заброшенный домик, в заросшем травой овраге тянулся кверху остролистый тростник.

Эмма прежде всего смотрела, не изменилось ли тут что-нибудь с прошлого раза. Но все оставалось по-старому: и наперстянка, и левкой, и заросли крапивы вокруг больших камней, и пятна лишая на наличниках трех окон, закрытые ставни которых со ржавыми железными болтами гнили и

крошились. Мысли Эммы, сперва неясные, перескакивали с предмета на предмет, подобно ее щенку, который то делал круги по полю, то гавкал на желтых бабочек, то гонялся за землеройками, а то покусывал маки на краю полосы, засеянной пшеницею. Но мало-помалу думы ее останавливались на одном, и, сидя на лужайке, водя зонтиком по траве, она твердила:

– Боже мой! Зачем я вышла замуж?

Эмма задавала себе вопрос: не могла ли она при ином стечении обстоятельств встретить кого-нибудь другого? Она пыталась представить себе, как бы происходили эти несовершеншиеся события, как бы сложилась эта совсем иная жизнь, каков был бы этот неведомый ее супруг. В самом деле, ведь не все же такие, как Шарль. Муж у нее мог быть красив, умен, благовоспитан, обаятелен, – за таких, наверно, вышли замуж ее подруги по монастырскому пансиону. Как-то они поживают?

От шума городских улиц, от гуденья в зрительных залах, от блеска балов их сердца радуются, их чувства расцветают. А ее жизнь холодна, как чердак со слуховым окошком на север, и тоска бессловесным пауком оплетала в тени паутиной все уголки ее сердца. Эмма вспоминала, как в дни раздачи наград она поднималась на эстраду за веночком. С длинной косой, в белом платье и открытых прюнелевых туфельках, она была очень мила, и когда она возвращалась на свое место, мужчины наклонялись к ней и говорили комплименты.

Двор был заставлен экипажами, подруги прощались с ней, выглядывая в дверцы карет, учитель музыки со скрипкой в футляре, проходя мимо, кланялся ей. Куда все это девалось? Куда?

Она подзывала Джали, ставила ее между колен, гладила ее длинную острую мордочку и говорила:

– Ну, поцелуй свою хозяйку! Ведь тебе не о чем горевать.

Глядя в печальные глаза стройной, сладко зевавшей собачки, Эмма умилялась и, воображая, будто это она сама, говорила с ней, утешала ее, как утешают человека в беде.

Порой поднимался вихрь; ветер с моря облетал все Кошское плато, донося свою соленую свежесть до самых отдаленных полей. Шуршал, пригибаясь к земле, тростник; шелестели, дрожа частою дрожью, листья буков, а верхушки их все качались и качались с гулким и ровным шумом. Эмма накидывала шаль на плечи и поднималась с земли.

В аллее похрустывал под ногами гладкий мох, на который ложился дневной свет, зеленый от скрадывавшей его листвы. Солнце садилось; меж ветвей сквозило багровое небо; одинаковые стволы деревьев, посаженные по прямой линии, вырисовывались на золотом фоне коричневой колоннадой; на Эмму нападал страх, она подзывала Джали, быстрым шагом возвращалась по большой дороге в Тост, опускалась в кресло и потом весь вечер молчала.

Но в конце сентября нечто необычное вторглось в ее жизнь: она получила приглашение в Вобьесар, к маркизу

д'Андервилье.

В эпоху Реставрации маркиз отправлял должность статс-секретаря, и теперь он, надумав вернуться к государственной деятельности, собирался исподволь обеспечить себе успех на выборах в палату депутатов. Зимой он направо и налево раздавал хворост, в генеральном совете произносил зажигательные речи, требуя проведения в своем округе новых дорог. В летнюю жару у него образовался нарыв в горле, и Шарлю каким-то чудом удалось, вовремя прибегнув к ланцету, быстро его вылечить. Управляющий имением, посланный в тот же вечер в Тост уплатить за операцию, доложил, что видел в докторском саду чудные вишни. Так как в Вобьесаре вишни росли плохо, то маркиз попросил несколько отростков у Бовари, а затем счел своим долгом поблагодарить его лично, познакомился с Эммой и нашел, что она хорошо сложена и здороваается не по-деревенски; одним словом, в замке пришли к заключению, что если пригласить молодых супругов, то это не уронит достоинства владельцев замка и не будет бестактностью по отношению к другим приглашенным.

Однажды, в среду, в три часа дня, г-н и г-жа Бовари сели в свой шарабанчик и поехали в Вобьесар; сзади к шарабану был привязан большой чемодан, у самого кожаного верха помещалась коробка для шляпы, а в ногах у Шарля стояла картонка.

Приехали они под вечер, когда в парке уже зажигали фонарики, чтобы осветить дорогу прибывающим гостям.

VIII

Замок – современная постройка в итальянском стиле, с двумя выдвинувшимися вперед крыльями и тремя подъездами – ширился в низине, куда спускалось бескрайнее поле; по полю между купами высоких деревьев бродили коровы; вдоль извилистой, усыпанной песком дороги раскидывалась, неодинаковой величины шатрами, листва разросшихся буйно кустов рододендрона, жасмина, калины. Через реку был перекинут мост. Сквозь туман проступали очертания крытых соломой строений, разбросанных среди луга, справа и слева упиравшегося в пологие лесистые холмы, а сзади тянулись, утопая в зелени, два ряда сараев и конюшен, уцелевших при сносе старого замка.

Шарабанчик Шарля остановился у среднего подъезда; появились слуги; вышел маркиз и, предложив руку жене доктора, ввел ее в вестибюль.

Пол в вестибюле был мраморный, потолок очень высокий, шаги и голоса раздавались тут, как в церкви. Прямо шла вверх, не делая ни одного поворота, лестница, налево галерея, выходящая окнами в сад, вела в бильярдную, – едва переступив порог вестибюля, вы уже слышали долетавший оттуда стук костяных шаров. В бильярдной, через которую Эмме надо было пройти, чтобы попасть в гостиную, ей бросились в глаза осанистые мужчины, все в орденах,

их высокие воротнички и то, как они, молча улыбаясь, размахивали киями. На темном дереве панели под широкими золотыми рамами были написаны черными буквами имена. Эмма прочла: «Жан-Антуан д'Андервилье д'Ивербонвиль, граф де ла Вобьесар, барон де ла Френей, пал в сражении при Кутра 20 октября 1587 года». А под другим портретом: «Жан-Антуан-Анри-Ги д'Андервилье де ла Вобьесар, адмирал Франции, кавалер ордена Михаила Архангела, ранен в бою при Уг-Сен-Вааст 29 мая 1692 года, скончался в Вобьесаре 23 января 1693 года». Дальше уже трудно было что-нибудь разобрать, так как свет от лампы падал прямо на зеленое сукно бильярда, а в комнате реял сумрак. Наводя темный глянец на полотна, развешанные во всю ширину стен, этот свет острыми гранями сверкал в трещинах лака, и на больших черных, окаймленных золотом прямоугольниках кое-где выступало лишь то, что было ярче освещено: бледный лоб, глаза, смотревшие прямо на вас, букли парика, завивающиеся в кольца на обсыпанных пудрой плечах красного камзола, пряжка подвязки на упругой икре.

Маркиз распахнул дверь в гостиную. Одна из дам (это была его жена) встала, пошла Эмме навстречу, а затем усадила ее рядом с собой на диванчик и повела с ней дружескую беседу, как со своей старой знакомой. Это была женщина лет сорока, с красивыми плечами, с орлиным носом, с певучим выговором; в тот вечер на ее темно-русые волосы была накинута простая гипюровая косынка, образовавшая сзади тре-

угольник. Рядом, на стуле с высокой спинкой, сидела молодая блондинка; у камина какие-то господа с цветками в петлицах фраков занимали дам разговором.

В семь часов подали обед. Мужчины, составлявшие большинство, сели за один стол в вестибюле, дамы – за другой, в столовой, с хозяевами.

Эмма, войдя в столовую, тотчас почувствовала, как ее окутывает тепло, овеивает смешанный запах цветов, тонкого белья, жаркого и трюфелей. На серебряных крышках растягивались огни канделябров; тускло отсвечивал запотевший граненый хрусталь; через весь стол тянулись строем вазы с цветами; на тарелках с широким бордюром, в раструбах салфеток, сложенных в виде епископских митр, лежали продолговатые булочки. С краев блюд свешивались красные клешни омаров; в ажурных корзиночках высились обложенные мхом крупные плоды; перепелки были поданы в перьях; над столом поднимался пар; метрдотель в шелковых чулках, коротких штанах, в белом галстуке и жабо, важный, как судья, продвигал между плечами гостей блюда с уже нарезанными кушаньями и одним взмахом ложки сбрасывал на тарелку выбранный кем-либо кусок. С высокой фаянсовой печи, отделанной медью, неподвижным взглядом смотрела на многолюдное сборище статуэтка женщины, задрапированной до самого подбородка.

Госпожа Бовари заметила, что некоторые дамы не положили перчаток в стаканы.

На почетном месте, один среди женщин, сидел и ел, наклонившись над полной тарелкой, старик, – ему, как ребенку, повязали салфетку, и с губ у него капал соус. Глаза у старика были в красных жилках, сзади свисала косица со вплетенной в нее черной лентой. Это был тесть маркиза, старый герцог де Лавердьер, которого граф д'Артуа приблизил к себе в ту пору, когда он ездил охотиться в Водрейль к маркизу де Конфлан, и который, как говорят, был любовником королевы Марии-Антуанетты после г-на де Куаньи и перед г-ном де Лозеном. Когда-то он вел бурный образ жизни, кутил, сражался на дуэлях, заключал пари, увозил женщин, сорил деньгами, держал в страхе семью. Сейчас за его стулом стоял лакей и, наклоняясь к самому его уху, выкрикивал названия блюд, а тот показывал на них пальцем и мычал. Этот вислогубый старик невольно притягивал к себе взгляд Эммы, как будто перед ней было что-то величественное, необыкновенное. Подумать только: он жил при дворе, он лежал в постели королевы!

В бокалы налили замороженного шампанского. Как только Эмма ощутила во рту его холод, по всему ее телу пробежали мурашки. Она никогда не видела гранатов, никогда не ела ананасов. Даже сахарная пудра казалось ей какой-то особенно белой и мелкой, не такой, как везде.

После обеда дамы разошлись по комнатам переодеться к балу. У Эммы туалет был обдуман до мелочей, точно у актрисы перед дебютом. Причесавшись, как ей советовал па-

рикмахер, она надела барежевое платье, которое было разложено на постели. У Шарля панталоны жали в поясе.

– Штрипки будут мне мешать танцевать, – сказал он.

– Танцевать? – переспросила Эмма.

– Ну да!

– Ты с ума сошел! Не смей людей, сиди смирно. Врачу это больше пристало, – добавила она.

Шарль промолчал. В ожидании, пока Эмма оденется, он стал ходить из угла в угол.

Он видел ее в зеркале сзади, между двух свечей. Ее черные глаза сейчас казались еще темнее. Волосы, слегка взбитые ближе к ушам, отливали синевой; в шиньоне трепетала на гибком стебле роза с искусственными росниками на лепестках. Бледно-шафранового цвета платье было отделано тремя букетами роз-помпон с зеленью.

Шарль хотел поцеловать ее в плечо.

– Оставь! – сказала она. – Изомнешь мне платье.

Внизу скрипка заиграла ритурнель, послышались звуки рога. Эмма, едва сдерживаясь, чтобы не побежать, спустилась с лестницы.

Кадриль уже началась. Гости все подходили. Стало тесно. Эмма села на скамейку у самой двери.

По окончании контрданса танцующих сменили посреди залы группы мужчин, беседовавших стоя, и ливрейные лакеи с большими подносами. В ряду сидевших девиц колыхались разрисованные вееры, прикрывались букетами улыбки, руки

в белых перчатках, очерчивавших форму ногтей и стягивавших кожу у запястья, вертели флакончики с золотыми пробками. Кружевные оборки, брильянтовые броши, браслеты с подвесками – все это трепетало на корсажах, поблескивало на груди, позванивало на обнаженных руках. Волосы, гладко зачесанные спереди, собирались в пучок на затылке, а сверху венками, гроздьями, ветками были уложены незабудки, жасмин, гранатовый цвет, колосья и васильки. Матери в красных тюрбанах чинно сидели с надутыми лицами на своих местах.

Сердце у Эммы невольно дрогнуло, когда кавалер взял ее за кончики пальцев и в ожидании удара смычка стал с нею в ряд. Но волнение скоро прошло. Покачиваясь в такт музыке, чуть заметно поводя шеей, она заскользила по зале. Порою на ее лице появлялась улыбка, вызванная некоторыми оттенками в звучании скрипки; их можно было уловить, лишь когда другие инструменты смолкали; тогда же слышался тот чистый звук, с каким сыпались на сукно игорных столов золотые монеты; потом все вдруг начиналось сызнава: точно удар грома, раскатывался корнет-а-пистон, опять все так же мерно сгибались ноги, раздувались и шелестели юбки, сцеплялись и отрывались руки; все те же глаза то опускались, то снова глядели на вас в упор.

Несколько мужчин от двадцати пяти до сорока лет (их было всего человек пятнадцать), присоединившихся к танцующим или к тем, кто беседовал в дверях залы, выделялись из толпы своим как бы фамильным сходством, выступавшим,

несмотря на разницу в возрасте, на различие в наружности и в одежде.

Фраки, сшитые, по-видимому, из более тонкого, чем у других, сукна, как-то особенно хорошо на них сидели, волосы со взбитыми на висках локонами были напомажены самой лучшей помадой. Здоровая белизна их лиц, которая поддерживалась умеренностью в еде, изысканностью кухни и которую усиливали матовый фарфор, покрытая лаком дорогая мебель и переливчато блестящий атлас, свидетельствовала о том, что это люди состоятельные. Они свободно могли поворачивать шею, оттого что галстуки у них были повязаны низко; их длинные бакенбарды покоились на отложных воротничках; они вытирали себе губы вышитыми, распространявшими нежный запах платками, на которых бросались в глаза крупные метки. Те, что уже начали стареть, выглядели молодо, а на лицах у молодых лежал отпечаток некоторой зрелости. В их равнодушных взглядах отражалось спокойствие, которое достигается ежедневным утолением страстей, а сквозь мягкость их движений проступала та особая жестокость, которую пробуждает в человеке господство над существами, покорными ему не вполне, развивающими его силу и тешащими его самолюбие, будь то езда на породистых лошадях или связь с падшими женщинами.

В трех шагах от Эммы кавалер в синем фраке и бледная молодая женщина с жемчужным ожерельем говорили об Италии. Оба восхищались колоннами собора Св. Петра, Ти-

воли, Везувием, Каstellаммаре, Кассино, генуэзскими розами, Колизеем при лунном свете. Одновременно Эмма вслушивалась в разговор о чем-то для нее непонятном. Гости обступили какого-то юнца, который рассказывал, как он на прошлой неделе обскакал в Англии Мисс Арабеллу и Ромула, как он, рискнув, выиграл две тысячи луидоров. Кто-то другой жаловался, что его скаковые жеребцы жиреют, третий сетовал на опечатки, исказившие кличку его лошади.

В бальной зале становилось душно, свет ламп тускнел. Гости отхлынули в бильярдную. Лакей влез на стул и разбил окно; услышав звон стекла, г-жа Бовари обернулась и увидела, что из сада в окно смотрят крестьяне. И тут она вспомнила Берто. Воображению ее представились ферма, тинистый пруд, ее отец в блузе под яблоней и она сама, снимающая пальчиком устой с крынок молока в погребе. Но в сиянии нынешнего дня жизнь ее, такая до сих пор ясная, мгновенно померкла, и Эмма уже начинала сомневаться, ее ли это жизнь. Она, Эмма, сейчас на балу, а на все, что осталось за пределами бальной залы, наброшен покров мрака. Жмурясь от удовольствия, она посасывала мороженое с мараскином, — она брала его ложечкой с позолоченного блюда, которое было у нее в левой руке.

Дама, сидевшая рядом с ней, уронила веер. В это время мимо проходил танцор.

— Будьте любезны, сударь, — обратилась к нему дама, — поднимите, пожалуйста, мой веер, он упал за канапе!

Господин наклонился, и Эмма успела заметить, что, как только он протянул руку, дама бросила ему в шляпу что-то белое, сложенное треугольником. Господин достал веер и почтительно вручил его даме; она поблагодарила его кивком головы и поднесла к лицу букет цветов.

За ужином пили много испанских и рейнских вин, был подан раковый суп, суп с миндальным молоком, травальгарский пудинг и множество холодных мясных блюд с дрожжащим галантиром, а после ужина кареты одна за другой стали разъезжаться. Отодвинув уголок муслиновой занавески, можно было видеть, как скользил в темноте свет от их фонарей. На скамейках стало просторно; за карточными столами кое-кто еще продолжал игру; музыканты облизывали одеревеневшие кончики пальцев; Шарль прислонился к двери и задремал.

В три часа утра начался котильон. Эмма не умела вальсировать. А между тем все танцевали вальс, даже мадемуазель д'Андервилье и маркиза; на котильон остались лишь те, кто гостил в замке, – всего человек десять.

И вот один из танцующих в обтягивавшем грудь очень открытом жилете, – этого господина все звали просто «виконтом», – уже второй раз подошел приглашать г-жу Бовари и дал слово, что он ее поведет и что все будет хорошо.

Начали они медленно, потом стали двигаться быстрее. Они сами вертелись, и все вертелось вокруг них, словно диск на оси: лампы, мебель, панель, паркет. У дверей край платья

Эммы порхнул по его панталонам; они касались друг друга коленями; он смотрел на нее сверху вниз, она поднимала на него глаза; на нее вдруг нашел столбняк, она остановилась. Потом они начали снова; все ускоряя темп, виконт увлек ее в самый конец залы, и там она, запыхавшись и чуть не упав, на мгновение склонила голову ему на грудь. А затем, все еще кружа ее, но уже не так быстро, он доставил ее на место: она запрокинула голову, прислонилась к стене и прикрыла рукой глаза.

Когда же она открыла их опять, то увидела, что посреди гостиной перед дамой, сидящей на пуфе, стоят на коленях три кавалера. Дама выбрала виконта, и тогда опять заиграла скрипка.

Все смотрели на эту пару. Виконт и его дама то удалялись, то приближались; у нее корпус был неподвижен, подбородок чуть-чуть опущен, а он, танцуя, сохранял одно и то же положение: держался прямо, линия рук у него была округлена, голова вздернута. Вот эта его дама умела вальсировать! Они танцевали долго и утомили всех.

Гости потом еще несколько минут поболтали и, пожелав друг другу спокойной ночи или, вернее, доброго утра, пошли спать.

Шарль еле двигался; он говорил, что «ноги у него не идут». Он пять часов подряд простоял возле карточных столов – все смотрел, как играют в вист, в котором он ровно ничего не смыслил. И теперь, сняв ботинки, он облегченно

вздохнул.

Эмма накинула на плечи шаль, отворила окно и облокотилась на подоконник.

Ночь была темная. Накрапывал дождь. Влажный ветер освежал ей веки, она жадно вдыхала его. В ушах у нее все еще гремела бальная музыка, и она гнала от себя сон, чтобы продлить наслаждение всей этой роскошью, от которой ей скоро предстояло уехать.

Занималась заря. Эмма долго смотрела на окна замка, стараясь угадать, кто из гостей в какой комнате ночует. Ей хотелось узнать жизнь каждого из них, понять ее, войти в нее.

В конце концов Эмма продрогла. Она разделась и, юркнув под одеяло, свернулась клубком подле спящего Шарля.

К завтраку собралось много народа. Сидели за столом минут десять; к удивлению лекаря, никаких напитков подано не было. Мадемуазель д'Андервилье собрала в корзиночку крошки от пирога и отнесла на пруд лебедям, а потом все пошли в зимний сад, где диковинные колючие растения тянулись пирамидами к вазам, подвешенным к потолку, а из этих ваз, словно из змеиных гнезд, свисали, уже не помещаясь в них, длинные сплетшиеся зеленые жгуты. Зимний сад заканчивался оранжереей, представлявшей собою крытый ход в людскую. Желая доставить г-же Бовари удовольствие, маркиз повел ее в конюшню. Над кормушками, сделанными в виде корзинок, висели фарфоровые дощечки, на которых черными буквами были написаны клички лошадей.

Когда маркиз, проходя мимо денников, щелкал языком, лошади начинали волноваться. В сарае пол блестел, как паркет в гостиной. Сбруя была развешана на двух вращающихся столбиках; на стенах висели в ряд удила, хлысты, стремяна, уздечки.

Тем временем Шарль сказал слуге, что пора запрягать. Шарабанчик подали к самому подъезду, и, когда все вещи были уложены, супруги Бовари, простившись с хозяевами, поехали к себе в Тост.

Эмма молча смотрела, как вертятся колеса. Шарль сидел на самом краю и, расставив руки, правил; оглобли были слишком широки для лошадки, и она бежала иноходью. Слабо натянутые, покрытые пеною вожжи болтались у нее на спине; сзади все время чувствовались сильные и мерные толчки, – это бился о кузов привязанный к спинке чемодан.

Они поднимались на Тибурвильскую гору, как вдруг навстречу им вымахнули и пронеслись мимо смеющиеся всадники с сигарами во рту. Эмме показалось, что один из них был виконт; она обернулась, но увидела лишь не в лад опускавшиеся и поднимавшиеся головы, так как одни ехали рысью, другие – галопом.

Проехав еще с четверть мили, Шарль остановил лошадь и подвязал веревкой шлею.

Когда же он, перед тем как пуститься в путь, еще раз осмотрел упряжь, ему показалось, что под ногами у лошади что-то валяется; он нагнулся и поднял зеленый шелко-

вый портсигар, на котором, как на дверце кареты, красовался герб.

– Э, да тут еще две сигары остались! – сказал он. – Это мне будет на вечер, после ужина.

– Разве ты куришь? – спросила Эмма.

– Иногда, при случае, – ответил Шарль.

И, сунув находку в карман, стегнул лошаденку. К их приезде обед еще не был готов. Г-жа Бовари рассердилась. Настази нагрубила ей.

– Убирайтесь вон! – крикнула Эмма. – Я не позволю вам надо мной издеваться. Вы у меня больше не служите.

На обед у них был луковый суп и телятина со щавелем. Шарль сел напротив Эммы и, с довольным видом потирая руки, сказал:

– В гостях хорошо, а дома лучше!

Было слышно, как плакала Настази. Шарль успел привязаться к бедной девушке. Еще будучи вдовцом, он коротал с нею длинные, ничем не заполненные вечера. Она была его первой пациенткой, самой старинной его знакомой во всем околотке.

– Ты правда хочешь ей отказать? – спросил он.

– Да, – ответила Эмма. – А что, разве я в том не вольна?

После обеда, пока Настази стелила постели, они грелись на кухне. Шарль закурил. Он выпячивал губы, ежеминутно сплевывал и при каждой затяжке откидывался.

– У тебя голова закружится, – презрительно сказала Эмма.

Он отложил сигару и побежал на колодец выпить холодной воды. Эмма схватила портсигар и засунула его поглубже в шкаф.

На другой день время тянулось бесконечно долго! Эмма гуляла по садику, все по одним и тем же дорожкам, останавливалась перед клумбами, перед абрикосовыми деревьями, перед гипсовым священником, – все это ей было так знакомо, но она смотрела на все с изумлением. Каким далеким уже казался ей бал! Кто же это разделил таким огромным пространством позавчерашнее утро и нынешний вечер? Поездка в Вобьесар расколола ее жизнь – так гроза в одну ночь пробивает иногда в скале глубокую расселину. И все же Эмма смирилась; она благоговейно уложила в комод весь свой чудесный наряд, даже атласные туфельки, подошвы которых пожелтели от скользкого навощенного паркета. С ее сердцем случилось то же, что с туфельками: от соприкосновения с роскошью на нем осталось нечто неизгладимое.

Вспоминать о бале вошло у Эммы в привычку. Каждую среду она говорила себе, просыпаясь: «Неделю... две недели... три недели назад я была в замке!» Но мало-помалу все лица в ее воображении слились в одно, она забыла музыку танцев, она уже не так отчетливо представляла себе ливреи и комнаты; подробности выпали из памяти, но сожаление осталось.

IX

Когда Шарль уходил, Эмма часто вынимала из шкафа засунутый ею в белье зеленый шелковый портсигар.

Она рассматривала его, раскрывала и даже обнюхивала подкладку, пропахшую вербеной и табаком. Кто его обронил?.. Виконт. Может быть, это подарок любовницы. Его вышивали в палисандровых пяльцах; эту маленькую вещь приходилось укрывать от постороннего взора, над нею склонялись мягкие локоны задумчивой рукодельницы, посвящавшей этому занятию весь свой досуг. Клеточки канвы были овеяны любовью, каждый стежок закреплял надежду или воспоминание, сплетенные шелковые нити составляли продолжение все той же безмолвной страсти. Потом, однажды утром, виконт унес подарок. А пока портсигар лежал на широкой каминной полочке между вазой с цветами и часами в стиле Помпадур; о чем велись разговоры в той комнате?.. Она, Эмма, в Тосте. А он теперь там, в Париже! Какое волшебное слово! Эмме доставляло особое удовольствие повторять его вполголоса; оно отдавалось у нее в ушах, как звон соборного колокола, оно пламенело перед ее взором на всем, даже на ярлычках помадных банок.

По ночам ее будили рыбаки, с пением «Майорана» проезжавшие под окнами, и, прислушиваясь к стуку окованных железом колес, мгновенно стихавшему, как только тележки

выезжали за село, где кончалась мостовая, она говорила себе:

«Завтра они будут в Париже!»

Мысленно она ехала следом за ними, поднималась и спускалась с пригорков, проезжала деревни, при свете звезд мчалась по большой дороге. Но всякий раз на каком-то расстоянии от дома ее мечта исчезала в туманной дали.

Она купила план Парижа и, водя пальцем, гуляла по городу. Шла бульварами, останавливалась на каждом перекрестке, перед белыми прямоугольниками, изображавшими дома. В конце концов глаза у нее уставали, она опускала веки и видела, как в вечернем мраке раскачиваются на ветру газовые рожки, как с грохотом откидываются перед колоннадами театров подножки карет.

Она выписала дамский журнал «Свадебные подарки» и «Сильф салонов». Читала она там все подряд: заметки о премьерах, о скачках, о вечерах, ее одинаково интересовали и дебют певицы, и открытие магазина. Она следила за модами, знала адреса лучших портних, знала, по каким дням ездят в Булонский лес и по каким – в Оперу. У Эжена Сю она изучала описания обстановки, у Бальзака и Жорж Санд искала воображаемого утоления своих страстей. Она и за стол не садилась без книги; пока Шарль ел и разговаривал с ней, она переворачивала страницу за страницей. Читая, она все время думала о виконте. Она устанавливала черты сходства между ним и вымышленными персонажами. Однако нимб вокруг него постепенно увеличивался, – удаляясь от его головы, он

расходился все шире и озарял уже иные мечты.

Теперь в глазах Эммы багровым заревом полыхал необозримый, словно океан, Париж. Слитная жизнь, бурлившая в его суতোлке, все же делилась на составные части, распадалась на ряд отдельных картин. Из них Эмма различала только две или три, и они заслоняли все остальные, являлись для нее изображением человечества в целом. В зеркальных залах между круглыми столами, покрытыми бархатом с золотой бахромой, по лощеному паркету двигались дипломаты. То был мир длинных мантий, великих тайн, душевных мук, скрывающихся за улыбкой. Дальше шло общество герцогинь; там лица у всех были бледны, вставать полагалось там не раньше четырех часов дня, женщины – ну просто ангелочки! – носили юбки, отделанные английскими кружевами, мужчины – непризнанные таланты с наружностью вертопрахов – загоняли лошадей на прогулках, летний сезон проводили в Бадене, а к сорока годам женились на богатых наследницах. В отдельных кабинетах ночных ресторанов хохотало разношерстное сборище литераторов и актрис. Литераторы были по-царски щедры, полны высоких дум и бредовых видений. Они возвышались над всеми, витали между небом и землею, в грозовых облаках; было в них что-то не от мира сего. Все прочее расплывалось, не имело определенной места, как бы не существовало вовсе. Чем ближе приходилось Эмме сталкиваться с бытом, тем решительнее отворачивалась от него ее мысль. Все, что ее окружало, – деревенская

скука, тупость мещан, убожество жизни, – казалось ей исключением, чистой случайностью, себя она считала ее жертвой, а за пределами этой случайности ей грезился необъятный край любви и счастья. Чувственное наслаждение роскошью отождествлялось в ее разгоряченном воображении с духовными радостями, изящество манер – с тонкостью переживаний. Быть может, любовь, подобно индийской флоре, тоже нуждается в разрыхленной почве, в особой температуре? Вот почему вздохи при луне, долгие объятия, слезы, капающие на руки в миг расставания, порывы страсти и тихая нежность – все это было для нее неотделимо от балконов больших замков, где досуг длится вечно, от будуаров с шелковыми занавесками и плотными коврами, от жардиньерок с цветами, от кроватей на возвышениях, от игры драгоценных камней и от ливрей со шнурами.

Каждое утро по коридору топал ногами в грубых башмаках почтовый кучер, приходивший к Бовари чистить кобылу; на нем была рваная блуза, башмаки свои он надевал на босу ногу. Вот кто заменял грума в рейтузах! Сделав свое дело, он уходил и до следующего утра уже не показывался; Шарль, вернувшись от больных, сам отводил лошадь в стойло и, расседлав, надевал на нее оброть, а тем временем служанка приносила охалку соломы и как попало валила ее в кормушку.

На место Настази, которая, обливаясь слезами, уехала наконец из Тоста, Эмма взяла четырнадцатилетнюю девочку

ку-сиротку с кротким выражением лица. Она запретила ей носить чепец, приучила обращаться к хозяевам на «вы», подавать стакан воды на тарелочке, без стука не входить, гладить и крахмалить белье, приучила одевать себя, – словом, хотела сделать из нее настоящую горничную. Новая служанка, боясь, как бы ее не прогнали, всему подчинялась безропотно, но так как барыня обыкновенно оставляла ключ в буфете, то Фелисите каждый вечер таскала оттуда понемножку сахар и, помолившись Богу, съедала его тайком в постели.

В сумерки она иногда выходила за ворота и переговаривалась через улицу с кучерами. Барыня сидела у себя наверху. Эмма носила открытый капот; между шалевыми отворотами корсажа выглядывала гофрированная кофточка на трех золотых пуговках. Подпоясывалась она шнуром с большими кистями, ее туфельки гранатового цвета были украшены пышными бантами, которые закрывали весь подъем. Она купила себе бювар, почтовой бумаги, конвертов, ручку, но писать было некому. Она вытирала пыль с этажерки, смотрелась в зеркало, брала книгу, затем погружалась в раздумье, и книга падала к ней на колени. Ее тянуло путешествовать, тянуло обратно в монастырь. Ей хотелось умереть и в то же время хотелось жить в Париже.

А Шарль и в метель и в дождь разъезжал верхом по проселкам. Он подкреплял свои силы яичницей, которой его угощали на фермах, прикасался к влажным от пота простыням, делал кровопускания, и теплая кровь брызгала ему в

лицо, выслушивал хрипы, рассматривал содержимое ночной посуды, задирали сорочки на груди у больных. Зато каждый вечер его ждали пылающий камин, накрытый стол, мягкая мебель и элегантно одетая обворожительная жена, от которой всегда веяло свежестью, так что трудно было понять, душилась она чем-нибудь или это запах ее кожи, которым пропиталось белье.

Она приводила его в восторг своей изобретательностью: то как-то по-другому сделает бумажные розетки для подсвечников, то переменит на своем платье волан, то придумает какое-нибудь особенное название для самого обыкновенного блюда, которое испортила кухарка, и Шарль пальчики себе оближет. Как только она увидела в Руане, что дамы носят на часах связки брелоков, она купила брелоки и себе. Ей пришло в голову поставить на камин сперва две большие вазы синего стекла, потом – слоновой кости коробочку для шитья с позолоченным наперстком. Шарль во всех этих тонкостях не разбирался, но от этого они ему еще больше нравились. Они усиливали его жизнерадостность и прибавляли уюта его домашнему очагу.

Чувствовал он себя отлично, выглядел превосходно, его репутация установилась прочно. Крестьяне любили его за то, что он был не гордый. Он ласкал детей, в питейные заведения не заглядывал, нравственность его была безупречна. Особенно хорошо вылечивал он катары и бронхиты. Дело в том, что, пуще всего боясь уморить больного, он прописывал

преимущественно успокоительные средства, да еще в иных случаях рвотное, ножные ванны, пиявки. В то же время он не испытывал страха и перед хирургией: кровь отворял, не жалея, точно это были не люди, а лошади, зубы рвал «железной рукой».

«Чтобы не отстать», он выписал, ознакомившись предварительно с проспектом, новый журнал «Вестник медицины». После обеда он почитывал его, но духота в комнате и пищеварение так на него действовали, что через пять минут, уронив голову на руки и свесив гриву на подставку от лампы, он уже засыпал. Эмма смотрела на него и пожимала плечами. Почему ей не встретился хотя бы один из тех молчаливых тружеников, которые просиживают ночи над книгами и к шестидесяти годам, когда приходит пора ревматизма, получают крестик в петлицу плохо сшитого черного фрака? Ей хотелось, чтобы имя Бовари приобрело известность, чтобы его можно было видеть на витринах книжных лавок, чтобы оно мелькало в печати, чтобы его знала вся Франция. Но Шарль самолюбием не отличался! Врач из Ивето, с которым он встретился на консилиуме, несколько пренебрежительно с ним обошелся у постели больного, в присутствии родственников. Вечером Шарль рассказал об этом случае Эмме, и та пришла в полное негодование. Супруг был растроган. Со слезами на глазах он поцеловал жену в лоб. А она сгорала со стыда, ей хотелось побить его; чтобы успокоиться, она выбежала в коридор, распахнула окно и стала дышать свежим

воздухом.

– Какое ничтожество! Какое ничтожество! – кусая губы, шептала она.

Шарль раздражал ее теперь на каждом шагу. С возрастом у него появились некрасивые манеры: за десертом он резал ножом пробки от пустых бутылок, после еды прищелкивал языком, чавкал, когда ел суп; он начинал толстеть, и при взгляде на него казалось, что из-за полноты щек и без того маленькие его глаза оттягиваются к самым вискам.

Иногда Эмма заправляла ему за жилет красную каемку его фуфайки, поправляла галстук или выбрасывала поношенные перчатки, заметив, что он собирается их надеть. Но он ошибался, воображая, будто все это делается для него, – все это она делала для себя, из эгоизма, в сердцах. Иногда она даже пересказывала ему прочитанное: какой-нибудь отрывок из романа, из новой пьесы, светскую новость, о которой сообщалось в газетном фельетоне: какой ни на есть, а все-таки это был человек, и притом человек, внимательно ее слушавший, всегда с ней соглашавшийся. А ведь она открывала душу и своей собаке! Она рада была бы излить ее маятнику, дровам в камине.

Однако она все ждала какого-то события. Подобно морякам, потерпевшим крушение, она полным отчаяния взором окидывала свою одинокую жизнь и все смотрела, не мелькнет ли белый парус на мгlistом горизонте. Она не отдавала себе отчета, какой это будет случай, каким ветром пригонит

его к ней, к какому берегу потом ее прибьет, подойдет ли к ней шлюпка или же трехпалубный корабль, и подойдет ли он с горестями или по самые люки будет нагружен утехами. Но, просыпаясь по утрам, она надеялась, что это произойдет именно сегодня, прислушивалась к каждому звуку, вскакивала и, к изумлению своему, убеждалась, что все по-старому, а когда солнце садилось, она всегда грустила и желала, чтобы поскорей приходило завтра.

Потом опять наступила весна. Как только началась жара и зацвели грушевые деревья, у Эммы появились приступы удушья.

С первых чисел июля Эмма стала считать по пальцам, сколько недель остается до октября, – она думала, что маркиз д'Андервилье опять устроит бал в Вобьесаре. Но в сентябре не последовало ни письма, ни визита.

Когда горечь разочарования прошла, сердце ее вновь опустело, и опять потянулись дни, похожие один на другой.

Значит, так они и будут идти чередой, эти однообразные, неисчислимы, ничего с собой не несущие дни? Другие тоже скучно живут, но все-таки у них есть хоть какая-нибудь надежда на перемену. Иной раз какое-нибудь неожиданное происшествие влечет за собой бесконечные перипетии, и декорация меняется. Но с нею ничего не может случиться – так, видно, судил ей Бог! Будущее представлялось ей темным коридором, упирающимся в наглухо запертую дверь.

Музыку она забросила. Зачем играть? Кто станет ее слу-

шать? Коль скоро ей уже не сидеть в бархатном платье с короткими рукавами за эраровским роялем, ее легким пальцам уже не бегать по клавишам, коль скоро ей уже никогда не почувствовать, как ее овевает ветерок восторженного шепота сидящих в концертной зале, то не к чему тогда и стараться, разучивать. Рисунки и вышивки лежали у нее в шкафу. К чему все это? К чему? Шитье только раздражало ее.

– Книги я прочитала все до одной, – говорила она.

И, чтобы чем-нибудь себя занять, накаляла докрасна каминные щипцы или смотрела в окно на дождь.

Как тосковала она по воскресеньям, когда звонили к вечерне! С тупой сосредоточенностью прислушивалась она к ударам надтреснутого колокола. По крыше, выгибая спину под негреющими лучами солнца, медленно ступала кошка. На дороге ветер клубил пыль. Порой где-то выла собака. А колокол все гудел, и его заунывный и мерный звон замирал вдали.

Потом служба кончалась. Женщины в начищенных башмаках, крестьяне в новых рубашках, дети без шапок, на одной ножке прыгавшие впереди, – все возвращались из церкви домой. А у ворот постоянного двора человек пять-шесть, всегда одни и те же, допоздна играли в «пробку».

Зима в том году была холодная. В комнатах иногда до самого вечера стоял белесоватый свет, проходивший сквозь замерзшие ночью окна, как сквозь матовое стекло. В четыре часа уже надо было зажигать лампу.

В хорошую погоду Эмма выходила в сад. На капусте серебряным кружевом сверкал иней, длинными белыми нитями провисал между кочанами. Птиц было не слышать, все словно уснуло, абрикосовые деревья прикрывала солома, виноградник громадную больною змеей извивался вдоль стены, на которой вблизи можно было разглядеть ползающих на своих бесчисленных ножках мокриц. У священника в треугольной шляпе, читавшего молитвенник под пихтами возле изгороди, отвалилась правая нога, потрескался гипс от мороза, лицо покрыл белый лишай.

Потом Эмма шла к себе в комнату, запирала дверь, принималась мешать угли в камине и, изнемогая от жары, чувствовала, как на нее всей тяжестью наваливается тоска. Ей хотелось пойти поболтать со служанкой, но удерживало чувство неловкости.

Каждый день в один и тот же час открывал ставни на своих окнах учитель в черной шелковой шапочке; с саблею на боку шествовал полевой сторож. Утром и вечером через улицу проходили почтовые лошади – их гнали по три в ряд к пруду на водопой. Время от времени на двери кабачка звенел колокольчик, в ветреные дни дребезжали державшиеся на железных прутьях медные тазики, которые заменяли парикмахеру вывеску. Витрина его состояла из старой модной картинки, прилепленной к оконному стеклу, и восковой женской головки с желтыми волосами. Парикмахер тоже сетовал на вынужденное безделье, на свою загубленную жизнь и, мечтая

о том, как он откроет заведение в большом городе, ну, скажем, в Руане, на набережной или недалеко от театра, целыми днями в ожидании клиентов мрачно расхаживал от мэрии до церкви и обратно. Когда бы г-жа Бовари ни подняла взор, парикмахер в феске набекрень, в куртке на ластике всегда был на своем сторожевом посту.

Иногда после полудня в окне гостиной показывалось загорелое мужское лицо в черных бакенбардах и медленно расплывалось в широкой, мягкой белозубой улыбке. Вслед за тем слышались звуки вальса, и под шарманку в крошечной зальце, между креслами, диванами и консолями, кружились, кружились танцоры ростом с пальчик – женщины в розовых тюрбанах, тирольцы в курточках, обезьянки в черных фраках, кавалеры в коротких брючках, и все это отражалось в осколках зеркала, приклеенных по углам полосками золотой бумаги. Мужчина вертел ручку, а сам все посматривал то направо, то налево, то в окна. Время от времени, сплюнув на тумбу длинную вожжу коричневой слюны, он приподнимал коленом шарманку, – ее грубый ремень резал ему плечо, – и из-под розовой тафтяной занавески, прикрепленной к узорчатой медной планке, с гудением вырывались то грустные, тягучие, то веселые, плясовые мотивы. Те же самые мелодии где-то там, далеко, играли в театрах, пели в салонах, под них танцевали на вечерах, в освещенных люстрами залах, и теперь до Эммы доходили отголоски жизни высшего общества. В голове у нее без конца вертелась сарабанда, мысль

ее, точно баядерка на цветах ковра, подпрыгивала вместе со звуками музыки, перебегала от мечты к мечте, от печали к печали. Собрав в фуражку мелочь, мужчина накрывал шарманку старым чехлом из синего холста, взваливал на спину и тяжелым шагом шел дальше. Эмма смотрела ему вслед.

Но совсем невмочь становилось ей за обедом, в помещавшейся внизу маленькой столовой с вечно дымящей печкой, скрипучей дверью, со стенами в потеках и сырым полом. Эмме тогда казалось, что ей подают на тарелке всю горечь жизни, и когда от вареной говядины шел пар, внутри у нее тоже как бы клубами поднималось отвращение. Шарль ел медленно; Эмма грызла орешки или, облокотившись на стол, от скуки царапала ножом клеенку.

Хозяйство она теперь запустила, и г-жа Бовари-мать, приехав в Тост Великим постом, очень удивилась такой перемене. И точно: прежде Эмма тщательно следила за собой, а теперь по целым дням ходила неодетая, носила серые бумажные чулки, сидела при свечке. Она все твердила, что, раз они небогаты, значит, надо экономить, и прибавляла, что она очень довольна, очень счастлива, что ей отлично живется в Тосте; все эти новые речи зажимали свекрови рот. Да и потом, она, видимо, была отнюдь не расположена следовать ее советам; так, однажды, когда г-жа Бовари-мать позволила себе заметить, что господа должны требовать от слуг исполнения всех церковных обрядов, она ответила ей таким злобным взглядом и такой холодной улыбкой, что почтенная да-

ма сразу прикусила язык.

Эмма сделалась привередлива, капризна. Она заказывала для себя отдельные блюда и не притрагивалась к ним; сегодня пила только одно молоко, а завтра без конца пила чай. То запиралась в четырех стенах, то вдруг ей становилось душно, она отворяла окна, надевала легкие платья. То нещадно придиралась к служанке, то делала ей подарки, посылала в гости к соседям; точно так же она иногда высыпала нищим все серебро из своего кошелька, хотя особой отзывчивостью и сострадательностью не отличалась, как, впрочем, и большинство людей, выросших в деревне, ибо загрубелость отцовских рук до некоторой степени передается их душам.

В конце февраля папаша Руо в память своего выздоровления привез зятю отменную индейку и прогостил три дня в Тосте. Шарль разъезжал по больным, и с отцом сидела Эмма. Старик курил в комнате, плевал в камин, говорил о посевах, о телятах, коровах, о птице, о муниципальном совете, и когда он уехал, Эмма затворила за ним дверь с таким облегчением, что даже сама была удивлена. Впрочем, она уже не скрывала своего презрения ни к кому и ни к чему; порой она даже высказывала смелые мысли – порицала то, что всеми одобрялось, одобряла то, что считалось безнравственным, порочным. Муж только хлопал глазами от изумления.

Что же, значит, это прозябание будет длиться вечно? Значит, оно безысходно? А чем она хуже всех этих счастливиц? В Вобьесаре она нагладелась на герцогинь – фигуры у мно-

гих были грузнее, манеры вульгарнее, чем у нее, и ее возмущала несправедливость провидения; она прижималась головой к стене и плакала; она тосковала по шумной жизни, по ночным маскарадам, по предосудительным наслаждениям, по тому еще не испытанному ею исступлению, в которое они, наверное, приводят.

Она побледнела, у нее начались сердцебиения. Шарль прописал ей валерьяновые капли и камфарные ванны. Но все это как будто еще больше ее раздражало.

Бывали дни, когда на нее нападала неестественная говорливость; потом вдруг эта взвинченность сменялась отупением – она могла часами молчать и не двигаться с места. Она выливала себе на руки целый флакон одеколона – только это несколько оживляло ее.

Так как она постоянно бранила Тост, Шарль предположил, что все дело в здешнем климате, и, утвердившись в этой мысли, стал серьезно подумывать, нельзя ли перебраться в другие края.

Тогда Эмма начала пить уксус, чтобы похудеть, у нее появился сухой кашель, аппетит она потеряла окончательно.

Шарлю нелегко было расстаться с Тостом, – ведь он прожил здесь несколько лет и только-только начал «оперяться». Но ничего не поделаешь! Он повез жену в Руан и показал своему бывшему профессору. Оказалось, что у нее не в порядке нервы, – требовалось переменить обстановку.

Толкнувшись туда-сюда, Шарль наконец узнал, что в Нев-

шательском округе есть неплохой городок Ионвиль-л'Аббей, откуда как раз на прошлой неделе выехал врач, польский эмигрант. Тогда Шарль написал ионвильскому аптекарю и попросил сообщить, сколько там всего жителей, далеко ли до ближайшего коллеги, много ли зарабатывал его предшественник и т. д. Получив благоприятный ответ, Шарль решил, что если Эмма не поправится, то они переедут туда весной.

Однажды Эмма, готовясь к отъезду, разбирала вещи в комоде и уколола обо что-то палец. Это была проволока от ее свадебного букета. Флёрдоранж пожелтел от пыли, атласная лента с серебряной бахромой обтрепалась по краям. Эмма бросила цветы в огонь. Они загорелись мгновенно, точно сухая солома. Немного погодя на пепле осталось что-то вроде красного кустика, и кустик этот медленно дотлевал. Эмма не сводила с него глаз. Лопались картонные ягодки, скручивалась латунная проволока, плавилась позументы, а свернувшиеся на огне бумажные венчики долго порхали черными мотыльками в камине и, наконец, улетели в трубу.

В марте, уезжая с мужем из Тоста, г-жа Бовари была беременна.

Часть вторая

I

Городок Ионвиль-л'Аббей (названный так в честь давно разрушенного аббатства капуцинов) стоит в восьми лье от Руана, между Аббевильской и Бовезской дорогами, в долине речки Риэль, которая впадает в Андель, близ своего устья приводит в движение три мельницы и в которой есть немного форели, представляющей соблазн для мальчишек, – по воскресеньям, выстроившись в ряд на берегу, они удят в ней рыбу.

В Буасьере вы сворачиваете с большой дороги и поднимаетесь проселком на отлогий холм Ле, – оттуда открывается широкий вид на долину. Речка делит ее как бы на две совершенно разные области: налево – луга, направо – пашни. Луга раскинулись под кромкой бугров и сливаются сзади с пастбищами Брэ, а к востоку равнина, поднимаясь незаметно для взора, ширится и, насколько хватает глаз, расстилает золотистые полосы пшеницы. Цвет травы и цвет посевов не переходят один в другой – их разделяет светлая лента проточной воды, и поле здесь похоже на разостланный огромный плащ с зеленым бархатным воротником, обшитым серебряным позументом.

Когда вы подъезжаете к городу, на горизонте видны дубы Аргейльского леса и обрывы Сен-Жана, сверху донизу исцарапанные длинными и неровными красными черточками, – это следы дождей, а кирпичный оттенок придают жилкам, прорезавшим серую гору, многочисленные железистые источники, текущие в окрестные поля.

Здесь сходятся Нормандия, Пикардия и Иль-де-Франс, это край помеси, край, где говор лишен характерности, а пейзаж – своеобразия. Здесь выделяется самый плохой во всем округе невшательский сыр, а хлебопашеством здесь заниматься невыгодно, – сыпучая, песчаная, каменистая почва требует слишком много удобрения.

До 1835 года в Ионвиле проезжих дорог не было, но как раз в этом году провели «большой проселочный путь», соединивший Аббевильскую и Амьенскую дороги, и по нему теперь идут редкие обозы из Руана во Фландрию. Но, несмотря на «новые рынки сбыта», в Ионвиль-л'Аббей все осталось по-прежнему. Вместо того чтобы повышать культуру земледелия, здесь упорно продолжают заниматься убыточным травосеянием. Удаляясь от равнины, ленивый городишко тянется к реке. Он виден издали: разлегся на берегу, словно пастух в час полдневного зноя.

За мостом, у подошвы холма, начинается обсаженная молодыми осинками дорога, по которой вы, не забирая ни вправо, ни влево, доберетесь как раз до самого пригорода. Обнесенные изгородью домики стоят в глубине дворов, а вокруг,

под ветвистыми деревьями, к которым прислонены лестницы, косы, шести, раскиданы всякого рода постройки: давилни, каретники, винокурни. Соломенные крыши, словно нахлобученные шапки, почти на целую треть закрывают маленькие оконца с толстыми выпуклыми стеклами, посредине которых, как на доньшке бутылок, выдавлен конус. Возле стен, сквозь штукатурку которых выглядывает расположенная по диагонали черная дранка, растут чахлые груши, у входных дверей устроены маленькие вертушки от цыплят, клюющих на пороге вымоченные в сидре крошки пеклеванного хлеба. Но постепенно дворы становятся уже, домишки лепятся один к другому, заборы исчезают; под окнами качаются палки от метел с пучками папоротника на конце. Вот кузница, потом – тележная мастерская, и возле нее – две-три новенькие телеги, занявшие часть мостовой. Дальше сквозь решетку виден белый дом, а перед ним круглая лужайка, которую украшает амур, приставивший палец к губам; по обеим сторонам подъезда – лепные вазы; на двери блестит металлическая дощечка; это лучший дом в городе – здесь живет нотариус.

В двадцати шагах от него, на противоположной стороне, у самой площади стоит церковь. Ее окружает маленькое кладбище, обнесенное низкой каменной стеной и до того тесное, что старые, вросшие в землю плиты образуют сплошной пол, на котором трава вычерчивает правильные зеленые четырехугольники. В последние годы царствования Карла X церковь

была перестроена заново. Но деревянный свод вверху уже подгнивает, местами на его голубом фоне появляются темные впадины. Над дверью, где должен стоять орган, устроены хоры для мужчин, и ведет туда звенящая под каблуками винтовая лестница.

Яркий свет дня, проникая сквозь одноцветные стекла окон, косыми лучами освещает ряды стоящих перпендикулярно к стене скамеек; на некоторых из них прибиты к спинкам коврики, и над каждым таким ковриком крупными буквами выведена надпись: «Скамья г-на такого-то». Дальше, в том месте, где корабль суживается, находится исповедальня, а как раз напротив нее – густо нарумяненная, точно божок с Сандвичевых островов, статуэтка Девы Марии в атласном платье и в тюлевой вуали, усыпанной серебряными звездочками; наконец, в глубине завершает перспективу висящая между четырьмя светильниками над алтарем главного придела копия «Святого семейства» – «дар министра внутренних дел». Еловые откидные сиденья на хорах так и остались невыкрашенными.

Добрую половину главной ионвильской площади занимает крытый рынок, то есть черепичный навес, держащийся приблизительно на двадцати столбах. На углу, рядом с аптекой, стоит мэрия, «построенная по проекту парижского архитектора» и представляющая собой некое подобие греческого храма. Внизу – три ионические колонны, во втором этаже – галерея с круглой аркой, а на фронте галльский

петух одной лапой опирается на Хартию, в другой держит весы правосудия.

Но особенно бросается в глаза аптека г-на Оме напротив трактира «Золотой лев». Главным образом – вечером, когда зажигается кенкет, когда красные и зеленые шары витрины стелют по земле длинные цветные полосы, и на этих шарах, словно при вспышке бенгальского огня, вырисовывается тень аптекаря, склоненного над конторкой. Его дом сверху донизу заклеен объявлениями, на которых то разными почерками, где – круглым, где – с наклоном вправо, то печатными буквами написано: «Виши, сельтерская, барежская, кровоочистительные экстракты, слабительное Распайля, аравийский ракаут, лепешки Дарсе, паста Реньо, бинты, составы для ванн, лечебный шоколад и прочее». Во всю ширину здания – вывеска, и на ней золотыми буквами: «*Anneka Ome*». В глубине, за огромными, вделанными в прилавок весами, над застекленной дверью выведено длинное слово: «*Лаборатория*», а на середине двери золотыми буквами по черному полю еще раз написано *Оме*.

Больше в Ионвиле смотреть не на что. На его единственной улице, длиною не дальше полета пули, есть еще несколько торговых заведений, потом дорога делает поворот, и улица обрывается. Если пойти мимо холма Сен-Жан, так, чтобы дорога осталась справа, то скоро дойдешь до кладбища.

Когда здесь свирепствовала холера, его расширили – купили смежный участок в три акра и сломали разделявшую

их стену, но в этой новой части кладбища почти нет могил – они по-прежнему лепятся поближе к воротам. Кладбищенский сторож, он же могильщик и причетник в церкви (благодаря этому он имеет от покойников двойной доход), посадил на пустыре картофель. Однако его полоска с каждым годом все уменьшается, и теперь, во время эпидемий, он уже не знает, радоваться ли смертям или же унывать при виде новых могил.

– Вы кормитесь мертвецами, Лестибудуа! – как-то, не выдержав, сказал ему священник.

Эта мрачная мысль заставила сторожа призадуматься, и на некоторое время он прекратил сельскохозяйственную деятельность. Но потом опять принялся за свое, по-прежнему сажает картофель, да еще имеет смелость утверждать, что он растет сам по себе.

Со времени событий, о которых пойдет рассказ, в Ионвилле никаких существенных изменений не произошло. На колокольне все так же вертится трехцветный жестяной флюгер; над модной лавкой по-прежнему плещутся на ветру два ситцевых флажка; в аптеке все больше разлагаются в мутном спирту зародыши, напоминающие семьи белого трутника, а над дверью трактира старый, вылинявший от дождей золотой лев все еще выставляет напоказ свою мохнатую, как у пуделя, шерсть.

В тот вечер, когда в Ионвиль должны были приехать супруги Бовари, трактирная хозяйка, вдова Лефрансуа, совсем

захлопоталась со своими кастрюлями, и пот лился с нее градом. Завтра в городе базарный день. Нужно заранее разделить туши, выпотрошить цыплят, сварить суп и кофе. Да еще надо приготовить обед не только для тех, кто у нее на пансионе, но еще и для лекаря с женой и служанкой. Из бильярдной доносились взрывы хохота. В маленькой комнате три мельника требовали водки. Горели дрова, потрескивали угли, на длинном кухонном столе, среди кусков сырой баранины, высились стопки тарелок, дрожавшие при сотрясении чурбана, на котором рубили шпинат. На птичьем дворе стоял отчаянный крик – это кричала какая-то жертва, за которой гонялась служанка, чтобы отрубить ей голову.

У камина грелся рябоватый человек в зеленых кожаных туфлях, в бархатной шапочке с золотой кистью. Лицо его не выражало ничего, кроме самовлюбленности, держал он себя так же невозмутимо, как щегол в клетке из ивовых прутьев, висевшей как раз над его головой. Это был аптекарь.

– Артемиза! – кричала трактирщица. – Наломай хворосту, налей графины, принеси водки, пошевеливайся! Понятия не имею, что приготовить на десерт тем вот, которых вы ждете! Господи Иисусе! Опять грузчики загалдели в бильярдной! А повозка-то ихняя у самых ворот! «Ласточка» подъедет – разобьет в щепы. Поди скажи Ипполиту, чтобы он ее отодвинул!.. Подумайте, господин Оме: с утра они уж, наверно, пятнадцать партий сыграли и выпили восемь кувшинов сидра!.. Да они мне все сукно изорвут! – держа в руке уполов-

ник и глядя издали на игроков, воскликнула она.

– Не беда, – заметил г-н Оме, – купите новый.

– Новый бильярд! – ужаснулась вдова.

– Да ведь этот уже еле держится, госпожа Лефрансуа! Я вам давно говорю: вы себе этим очень вредите, вы себе этим очень вредите! Да и потом, игроки теперь предпочитают узкие лузы и тяжелые кии. Вообще все изменилось! Надо идти в ногу с веком! Берите-ка пример с Телье...

Хозяйка покраснела от злости.

– Что ни говорите, а его бильярд изящнее вашего, – продолжал фармацевт, – и если б кому-нибудь пришлось в голову устроить, например, состязание с патриотическими целями – в пользу поляков или же в пользу пострадавших от наводнения в Лионе...

– Не очень-то я боюсь этого проходимца! – поведя своими мощными плечами, прервала его хозяйка. – Ничего, ничего, господин Оме! Пока «Золотой лев» существует, в нем всегда будет полно. У нас еще денежки водятся! А вот в одно прекрасное утро вы увидите, что кофейня «Франция» заперта, а на ставне висит объявление! Сменить бильярд! – заговорила она уже сама с собой. – На нем так удобно раскладывать белье, а когда начинается охота, на нем спят человек шесть!.. Да что же эта размазня Ивер не едет!

– А вы до его приезда кормить своих завсегдатаев не будете?

– Не буду? А господин Бине? Вот увидите: он придет ров-

но в шесть часов, — такого аккуратного человека поискать! И непременно освободи ему место в маленькой комнате! Убей его, он не сядет за другой стол! А уж привередлив! А уж как трудно угодить ему сидром! Это не то что господин Леон. Тот приходит когда в семь, а когда и в половине восьмого. Кушает все подряд, не разбирая. Такой милый молодой человек! Голоса никогда не повысит.

— Воспитанный человек и податной инспектор из бывших карабинеров — это, я вам скажу, далеко не одно и то же.

Пробило шесть часов. Вошел Бине.

Синий сюртук висел на его костлявом туловище, как на вешалке; под кожаной фуражкой с завязанными наверху наушниками и заломленным козырьком был виден облысевший лоб со вмятиной, образовавшейся от долгого ношения каски. Он носил черный суконный жилет, волосяной галстук, серые штаны и во всякое время года ходил в старательно начищенных сапогах с одинаковыми утолщениями над выпиравшими большими пальцами. Ни один волосок не выбивался у него из-под светлого воротничка, очерчивавшего его нижнюю челюсть и окаймлявшего, точно зеленый бордюр клумбу, его вытянутое бескровное лицо с маленькими глазками и крючковатым носом. Мастак в любой карточной игре, хороший охотник, он славился своим красивым почерком и от нечего делать любил вытачивать на собственном токарном станке кольца для салфеток, которыми он с увлечением художника и эгоизмом мещанина завалил весь дом.

Он направился в маленькую комнату, но оттуда надо было прежде выпроводить трех мельников. И пока ему накрывали на стол, он все время молча стоял у печки; потом, как обычно, затворил дверь и снял фуражку.

– Однако особой любезностью он не отличается! – оставшись наедине с хозяйкой, заметил фармацевт.

– Он всегда такой, – подтвердила хозяйка. – На прошлой неделе заехали ко мне два коммивояжера по суконной части, ну до того веселые ребята – весь вечер балагурили, и я хохотала до слез, а он молчал как рыба.

– Да, – сказал фармацевт, – он лишен воображения, лишен остроумия, всего того, чем отличается человек из общества!

– Говорят, однако, он со средствами, – заметила хозяйка.

– Со средствами? – переспросил г-н Оме. – Кто, он? Со средствами? Он знает средство выколачивать подати, только и всего, – уже более хладнокровно добавил аптекарь и продолжал: – Ну, если негоциант, который делает большие дела, юрист, врач, фармацевт так всегда заняты своими мыслями, что в конце концов становятся чудаками и даже нелюдимами, это я еще могу понять, это мы знаем и из истории! Но зато они все время о чем-то думают. Со мной, например, сколько раз случалось: надо написать этикетку, ищущее перо на столе, а оно у меня за ухом!

Между тем г-жа Лефрансуа пошла поглядеть, не едет ли «Ласточка», и, подойдя к порогу, невольно вздрогнула. В кухню неожиданно вошел человек в черном. При последних

лучах заката было видно, что у него красное лицо и атлетическое телосложение.

– Чем могу служить, ваше преподобие? – спросила хозяйка, беря с камина один из медных подсвечников, которые стояли там целой колоннадой. – Не угодно ли чего-нибудь выпить? Рюмочку смородиной, стаканчик вина?

Священник весьма вежливо отказался. Он забыл в Эрнемонском монастыре зонт и, попросив г-жу Лефрансуа доставить его вечером к нему на дом, пошел служить вечерню.

Когда стук его башмаков затих, фармацевт заметил, что священник ведет себя отвратительно. Отказаться пропустить стаканчик – это гнусное лицемерие, и больше ничего; все попы пьянствуют, только тайком, и все мечтают восстановить десятину.

Хозяйка вступилась за священника:

– Да он с четырьмя такими, как вы, управится. В прошлом году он помогал нашим ионвильским солону убирать, так по шесть охапок сразу поднимал – вот какой здоровяк!

– Bravo! – воскликнул фармацевт. – Вот и посылайте своих дочерей на исповедь к молодцам с таким темпераментом! Я бы на месте правительства распорядился, чтобы всем попам раз в месяц отворяли кровь. Да, госпожа Лефрансуа, каждый месяц – изрядную флеботомию в интересах нравственности и общественного порядка!

– Будет вам, господин Оме! Вы безбожник! У вас и религии-то никакой нет!

– Нет, у меня есть религия, своя особая религия, – возразил фармацевт, – я даже религиознее, чем они со всем их комедиантством и фиглярством. Как раз наоборот, я чту Бога! Верю в высшее существо, в Творца, в кого-то – все равно, как его ни назвать, – кто послал нас сюда, дабы мы исполнили свой гражданский и семейный долг. Но я не считаю нужным ходить в церковь, целовать серебряные блюда и прикармливать ораву шутов, которые и так лучше нас с вами питаются! Молиться Богу можно и в лесу и в поле, даже просто, по примеру древних, созерцая небесный свод. Мой бог – это бог Сократа, Франклина, Вольтера и Беранже! *Я за Символ веры савойского викария* и за бессмертные принципы восемьдесят девятого года! Вот почему я отрицаю боженьку, который прогуливается с палочкой у себя в саду, размещает своих друзей во чреве китовом, умирает, испустив крик, и на третий день воскресает. Все эти нелепости в корне противоречат законам физики, а из этих законов, между прочим, явствует, что попы сами погрязли в позорном невежестве и хотят погрузить в его пучину народ.

Тут фармацевт, поискав глазами публику, смолк, – увлекшись, он вообразил, что произносит речь в муниципальном совете. А хозяйка не обращала на него никакого внимания – ей послышался отдаленный стук катящегося экипажа. Немного погодя можно было уже различить скрип кареты, цоканье ослабевших подков, и, наконец, у ворот остановилась «Ласточка».

Она представляла собою желтый ящик, помещавшийся между двумя огромными колесами, которые доходили до самого брезентового верха, мешали пассажирам смотреть по сторонам и забрызгивали им спину. Когда дверца кареты хлопывалась, то дрожали все стеклышки ее окон с налипшими на них комьями грязи и с вековой пылью, которую не смывали даже проливные дожди. Впрягали в нее тройку лошадей, из которых первая была выносная; если дорога шла под гору, то карета, вся сотрясаясь, доставала дном до земли.

На площадь высыпали горожане. Все заговорили разом, спрашивали, что нового, обращались за разъяснениями, расхватывали свои корзины. Ивер не знал, кому отвечать. В Руане он выполнял все поручения местных жителей. Ходил по лавкам, сапожнику привозил кожу, кузнецу – железо, своей хозяйке – бочонок сельдей, привозил шляпки от модистки, накладные волосы от парикмахера. По дороге из Руана он только и делал, что раздавал покупки, – стоя на козлах, орал диким голосом и швырял свертки через забор, а лошади шли сами.

Сегодня он запоздал из-за одного происшествия: сбежала собака г-жи Бовари. Ее звали битых четверть часа. Ивер даже проехал с пол-лье назад, – он был уверен, что собака с минуты на минуту объявится, – но в конце концов надо было все-таки ехать дальше. Эмма плакала, злилась, во всем обвиняла Шарля. Их попутчик, торговец тканями г-н Лере, стараясь утешить г-жу Бовари, рассказывал ей всякие исто-

рии про собак, которые пропадали, но много лет спустя все-таки узнавали хозяев. Он даже утверждал, что чья-то собака вернулась в Париж из Константинополя. Другая пробежала по прямой линии пятьдесят лье и переплыла четыре реки. У отца г-на Лере был пудель, который пропал двенадцать лет и вдруг как-то вечером, когда отец шел в город поужинать, прыгнул ему на спину.

II

Эмма вышла первая, за ней Фелисите, г-н Лере и кормилица; Шарля пришлось разбудить, ибо он, едва смерклось, притулился в уголке и заснул крепким сном.

Оме счел своим долгом представиться; он засвидетельствовал свое почтение г-же Бовари, рассыпался в любезностях перед ее мужем, сказал, что он рад был им служить, и с самым дружелюбным видом добавил, что его жена уехала и поэтому он берет на себя смелость напроситься на совместную трапезу.

Войдя в кухню, г-жа Бовари подошла к камину. Она приподняла двумя пальцами платье до щиколоток и стала греть ногу в черном ботинке прямо над куском мяса, который поджаривался на вертеле. Пламя озаряло ее всю: и ее платье, и ее гладкую белую кожу, а когда она жмурилась, то в его резком свете веки ее казались прозрачными. В приотворяемую дверь временами дуло, и тогда по Эмме пробегал яркий багровый отблеск.

Сидевший по другую сторону камина белокурый молодой человек устремил на нее безмолвный взгляд.

В Ионвиле он служил помощником у нотариуса, г-на Гильомена, очень скучал (это и был Леон Дюпюи, второй за-всегдатай «Золотого льва») и в надежде, что на постоянный двор завернет путник, с которым можно будет поболтать ве-

черок, сплошь да рядом являлся к обеду с запозданием. В те же дни, когда занятия кончались у него рано, он не знал, куда себя девать, поневоле приходил вовремя и весь обед, от первого до последнего блюда, просиживал с глазу на глаз с Бине. Вот почему он очень охотно принял предложение хозяйки пообедать в обществе новоприбывших, и так как г-жа Лефрансуа для большей торжественности велела накрыть стол на четыре прибора в большой комнате, то все перешли туда.

Оме попросил разрешения не снимать феску, – он боялся схватить насморк.

Затем он обратился к своей соседке:

– Вы, наверно, устали, сударыня? Наша «Ласточка» трясет немилосердно!

– Это правда, – молвила Эмма, – но всякое передвижение доставляет мне удовольствие. Я люблю менять обстановку.

– Какая скука – вечно быть прикованным к одному месту! – воскликнул помощник нотариуса.

– Попробовали бы вы, как я, по целым дням не слезать с лошади... – заговорил Шарль.

– А по-моему, это чудесно, – возразил Леон, обращаясь к г-же Бовари, и добавил: – Лишь бы иметь возможность.

– Да у нас тут условия для врача не такие уж тяжелые, – вмешался аптекарь, – дороги в исправности, всюду можно проехать в кабриолете, а платят прилично, – местные крестьяне живут богато. Если же говорить с чисто медицинской точки зрения, то, помимо обычных явлений энтерита, брон-

хита, желтухи и тому подобного, в пору жатвы здесь иногда встречается перемежающаяся лихорадка, но тяжелые случаи редки, одним словом – ничего достопримечательного, вот только золотуха у нас свирепствует, и тут все дело, конечно, в антисанитарном состоянии крестьянских домов. Да, господин Бовари, вам придется вести борьбу со множеством предрассудков, косность будет оказывать постоянное и упорное сопротивление вашей науке, – ведь есть еще такие люди, которые пойдут не к врачу, не к фармацевту, а к попу, которые вместо лечения молятся да прикладываются к мощам. А между тем климат здесь, в сущности говоря, не плохой, в нашей округе можно найти даже девяностолетних стариков. Температура, по моим собственным наблюдениям, зимою падает до четырех градусов, а в жару поднимается до двадцати пяти, самое большее – до тридцати, что составляет по Реомюру максимум двадцать четыре, а по Фаренгейту (по английскому градуснику) – пятьдесят четыре, не выше. В самом деле, с одной стороны мы защищены Аргейльским лесом от северного ветра, а с другой – холмом Сен-Жан от западного, и благодаря этому жара, которая усиливается от водяных паров, поднимающихся над рекой, и от скопления на лугах изрядного количества скота, выделяющего, как вам известно, много аммиака, то есть азота, водорода и кислорода, – нет, виноват, только азота и водорода, – жара, которая поглощает влагу, содержащуюся в почве, смешивает все эти различные испарения, связывает их, если можно так вы-

разиться, в один сноп, вступает в соединение с электричеством, когда оно бывает разлито в воздухе, и которая, как в тропических странах, могла бы с течением времени образовывать вредные для здоровья миазмы, – эта жара, говорю я, именно там, откуда она приходит, или, вернее, откуда она должна была бы к нам приходиться, то есть на юге, умеряется юго-восточным ветром, – ветер же этот, охлаждаясь над Сеной, порой налетает на нас внезапно, вроде русского бурана.

– По крайней мере, тут есть где погулять? – спросила молодого человека г-жа Бовари.

– Почти что нигде, – ответил тот. – Есть одно место, на взгорье, у опушки леса, на так называемом выгоне. Иногда в воскресенье я ухожу туда с книгой и люблюсь закатом.

– По-моему, нет ничего красивей заката, – молвила Эмма, – особенно над морем.

– О, море я обожаю! – сказал Леон.

– И не кажется ли вам, – продолжала г-жа Бовари, – что над этим безграничным пространством наш дух парит вольнее, что его созерцание возвышает душу и наводит на размышления о бесконечности, об идеале?

– Так же действуют на человека и горы, – молвил Леон. – Мой двоюродный брат в прошлом году путешествовал по Швейцарии, и он потом говорил мне, что невозможно себе представить, как поэтичны озера, как прекрасны водопады, как величественны ледники. Через потоки переброшены сосны сказочной величины, над провалами повисли хижин-

ны, а когда облака расходятся, вы видите под собой, на дне тысячефутовой пропасти, бескрайнюю долину. Такое зрелище должно настраивать человеческую душу на высокий лад, располагать к молитве, доводить до экстаза! И меня несколько не удивляет, что один знаменитый музыкант для вдохновения уезжал играть на фортепьяно в какие-нибудь красивые места.

– А вы сами играете, поете? – спросила Эмма.

– Нет, но я очень люблю музыку, – ответил Леон.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.